



Михаил Поляков

Зима торжествующая

Роман

Михаил Поляков

Зима торжествующая. Роман

«Издательские решения»

Поляков М.

Зима торжествующая. Роман / М. Поляков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-931467-3

В центре Москвы сгорает жилой дом. Журналисты Иван Кондратьев и Алексей Коробов расследуют это преступление, повлекшее десятки жертв. Они столкнутся с самыми разными людьми — таинственным стариком, жителем сгоревшего дома; дочерью владельца строительной компании, претендовавшей на здание — болезненной и эксцентричной девушкой, которая неожиданно предложит помощь в расследовании; и её мачехой, кажется, имеющей свои интересы в этой истории. Вас ожидает интересный сюжет, наполненный загадками.

ISBN 978-5-44-931467-3

© Поляков М.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Глава первая	7
Глава вторая	8
Глава третья	9
Глава четвёртая	11
Глава пятая	12
Глава шестая	13
Глава седьмая	14
Глава восьмая	16
Глава девятая	18
Глава десятая	20
Глава одиннадцатая	23
Глава двенадцатая	26
Глава тринадцатая	29
Глава четырнадцатая	31
Глава пятнадцатая	37
Глава шестнадцатая	39
Глава семнадцатая	41
Глава восемнадцатая	45
Глава девятнадцатая	48
Глава двадцатая	51
Глава двадцать первая	53
Глава двадцать вторая	57
Глава двадцать третья	59
Глава двадцать четвёртая	61
Глава двадцать пятая	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Зима торжествующая Роман

Михаил Поляков

© Михаил Поляков, 2018

ISBN 978-5-4493-1467-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Я знаю, что игра моя окончена, но этот парень, Мельников, доктор из второй хирургии, считает, что я ещё выкарабкаюсь. Ему за сорок, а наивен, как семиклассница – думает, что на свете можно жить против воли. На днях он попросил меня записывать всё случившееся в последние месяцы. Дескать, разберёшься в себе, поймёшь, что к чему в твоей жизни, ну а там, глядишь, и на поправку потащишься... Моральное здоровье, внутренние резервы, то да сё... Понятно, что глупости, однако, просьбу его я всё-таки выполнил. И мне, в конце концов, развлечение— не целыми же днями в потолок пялиться. Утешала, кстати, и надежда на то, что записки эти когда-нибудь дойдут и до... словом, до заинтересованных лиц, и я буду если не прощён, то хоть понят. Оставляю их в первоизданном виде, безо всяких изменений. Во-первых, переделывая, только больше запутаю, а во-вторых, память начала подводить меня в последние дни и, боюсь, что, начав заново, не только не добавлю нового, но, пожалуй, упущу и то, что смог припомнить в первый раз. Надеюсь, сумбурность повествования не очень помешает воспринять написанное. Утешаюсь тем, что смыслы, пропущенные логикой и разумом, зачастую улавливаются иными рецепторами – теми, к примеру, что объясняют нам веру, любовь и красоту. Да, красоту! Я не пижон, однако, почему же и мне хотя бы перед смертью не претендовать на некоторое достоинство?

Ну всё, хватит прелюдий. Чего ж вы ждёте, милый друг? Кидайте медную монету оборванцу с веслом и прыгайте скорее в лодку. Мы со стариной Вергилием кое-что вам покажем.

Итак,

Глава первая

Я почти убеждён в том, что долго он не готовился. Какие там, к чёрту, приготовления? Канистра бензина, какое-нибудь тряпье, несколько газет и зажигалка... Сложнее было добраться до места. Ночью в том районе всегда темно и безлюдно, но он всё равно прятался от взглядов, вздрагивал от каждого шороха и замирал на месте, приметив где-нибудь вдалеке очертания человеческой фигуры. Впрочем, страх не тянул его назад, а толкал вперёд. Страх напоминал о самолюбии, а самолюбие – о ненависти, сжимавшей его странное, слабое сердце.

Подойдя к дому, он наверняка замер на мгновение, поражённый какой-нибудь внезапной мыслью, может быть, избитой, может быть, сто раз приходившей на ум и прежде, но теперь, вблизи *работы*, представившейся в странном, оцепеняющем свете. Возможно, он даже раздумывал несколько мгновений – не повернуть ли обратно? Допустим даже из лести (и мертвецы любят лесть) – задрожал и сделал шаг назад – впрочем, шаг робкий, шаг застенчивый, словно по хрупкому ноябрьскому льду. Но тут же, конечно, собрался и продолжил путь. Движения его были неловки, прямы и резки, как у деревянного болванчика. Он раскидал по периметру дома намоченные бензином тряпки, натолкал в щели между землёй и фундаментом газет, а затем осторожно, стараясь не попасть на себя, окатил из канистры деревянную стену. Торопливо достав зажигалку, чиркнул колёсиком. Сноп искр сорвался с кремня и волшебным золотым крошевом обдал доски. Взметнулся огонь, произведя звук, столь любимый в старину бывальыми моряками, звук хлопка паруса, натянутого суровым атлантическим бейдевиндом. Он постоял немного, расширяющимся зрачками зачарованно наблюдая за пламенем, словно разглядывая нечто таинственное, одному ему зримое среди алых и синих всполохов. Наконец, опомнился, резко, как солдат на плацу, развернулся и пошёл прочь. Первый звук – истошный женский вопль, настиг его через полкилометра. Наверняка он так и представлял это себе ещё в первых, начальных мечтах, но всё-таки ему стоило большого усилия не ускорить теперь шаг. Стиснув зубы и не оборачиваясь, он шёл прямо, сосредоточенно глядя на дорогу. Разумеется, ему нравилось думать, что на лице его каменное, непроницаемое выражение, и нравилось чувство удовлетворения, плескавшееся в груди чуть ниже сердца, тёплое и ласковое, как материнское молоко. Но я знаю наверняка – никогда в жизни ему не было так больно, как в эту минуту.

Глава вторая

На огонь можно смотреть бесконечно, и описывать его тоже можно очень долго. Но мне кажется кощунственным смаковать тут это. Говорили, что было страшно, говорили, что зарево было видно за километр, говорили, что люди, не находя в дыму и гари иного выхода, выкидывались из окон, ломая руки и ноги, разбиваясь насмерть. Некоторые прыгали с детьми, прижимая их к груди и стараясь упасть так, чтобы удариться спиной. Получалось не у всех. Деревянное здание горело как свечка и пожарным, которые лишь через полчаса добрались к нему через дворы, осторожно объезжая небрежно припаркованные машины местных буржуа, почти не осталось работы. Итог той ночи – семеро погибших, включая троих детей, и четыре десятка искалеченных. Две женщины сошли с ума. Одна – старая – не смогла смириться с потерей мужа и сына, другая – молодая – не вынесла вида своего изуродованного огнём лица. Приметы времени, хищные приметы времени.

С утра возле здания началась мрачная, злая суতোлка. Медики, полицейские, журналисты, сами погорельцы, спасавшие из дома остатки имущества, – толкались, наперебой кричали, затевали грубые, неуместные ссоры. Там, среди ругани и злобы, сизым туманом висевших над остывающим пожарищем, среди отчаяния и тёмного людского горя, был, конечно, и Лёша Коробов, добрый мой приятель. Любите его и жалуйте, дамы и господа!

Глава третья

Алексей не мог не прийти ко мне, и он пришёл. В семь часов утра заверещал звонок, и я, наскоро накинув халат, в потёмках доковылял до прихожей и открыл дверь. На пороге стоял он, и он был растрёпан, утомлён и зол. И ещё торжественен. Я убеждён, что такие люди и живут лишь ради того, чтобы изредка торжествовать – иначе слишком горька была бы их чаша. Пропустив его в прихожую, я прошёл следом. Он плюхнулся на стул и пристально уставился на меня своими острыми зелёными глазами, как бы ожидая, что я заговорю первым. Но я молчал.

– Ваня, вот предупреждал я тебя, что общежитием дело не окончится, – волнуясь, начал он, крутя в руках свой длинный шерстяной шарф. – Ты ленты видел? Только что на Никитской дом сгорел.

– Я спал, – ответил я, глядя спокойно и безразлично. Он с минуту внимательно изучал меня. Моё спокойствие было, конечно, подозрительно ему. Спокойствие вообще всегда подозрительно.

– Ну вот жаль, – чуть сбившись, продолжил он. – А я только что с пожара. На этот раз всё совсем плохо – семь человек погибло, ты представляешь? Совсем страх потеряли, сволочи!

– И дракон там сейчас?

– Нет, самого его не заметил. Но Белов, я слышал, приезжал. Виноградов, председатель жилсовета, видел его БМВ, и Фетискина из квартиры на третьем этаже наталкивалась пару дней назад. Но всё это побоку, главное сейчас – документы.

Алексей порылся во внутреннем кармане пиджака, и извлёк на свет божий потрёпанную и взъерошенную пачку бумаги.

– Вот, смотри! – торжественно произнёс он, разглаживая на журнальном столике пожелтевшую бумагу. – Это договор подряда на ремонт канализации, который исполнял «Жилстандарт». Это, – на стол легла толстая пачка тёмно-зелёных листов – рекламные предложения тех же ребят о выкупе квартир. А вот здесь, – он подал мне маленькую красную флэшку в форме бульдожьей головы, – здесь записи угроз, которые получали жители по телефону.

– Кто записывал? – поинтересовался я, разглядывая карту. Под моими пальцами она прогнулась и издала сиплый звук, напоминающий собачий лай. Пахло от неё апельсиновой шипучкой. Такие флэшки родители покупают детям, чтобы те переписывали в школьных компьютерных классах задания на дом. По ней одной была очевидна неразбериха, царившая теперь среди жильцов. Ясно, что несмотря на все разговоры, поджог застал их врасплох, иначе они давно заготовили бы целую батарею флэшек для раздачи прессы, а не скидывали информацию на первые попавшиеся носители.

– Записывала Фомина, местный активист, правозащитница. Она сейчас занимается всеми делами погорельцев. Ну, размещением там, прессой... Толковая, кажется, баба.

– И точно известно, что угрожали именно люди Гореславского?

– Ну а кто же ещё? – вскинулся Алексей. – Кому это выгодно, кроме них? У них и строительные подряды, и геодезические работы у дома они производили, и... Да вообще всё на них завязано!

– Понятно, – сдержанно откомментировал я.

– Я так считаю: пора нанести дракону визит, – продолжал наступать Лёша. – Помнишь, мы говорили пару недель назад? Ну, выложить ему все факты, объяснений потребовать. Одним словом, «иду на вы».

– Думаешь, он станет тебе отвечать?

– Станет. Теперь уже не отвертится, – убеждённо отчеканил Коробов.

– А не боишься? – спросил я, заранее зная ответ.

Он презрительно поморщился, а я, глядя на него, улыбнулся. Как приятно всё-таки иметь дело с цельным человеком!

Глава четвёртая

Мы просидели на кухне до утра. Пили чай, закусывая чёрствыми пряниками, обнаруженными в моей хлебнице. И не говорили. Всё было понятно без слов. Когда первые розовые лучи загорелись над мирными жулебинскими высотками, мы, не произнеся ни звука, поднялись и пошли к выходу. До логова нашего дракона – башни «Федерация» было сорок минут на метро. Мы ехали, держась за ледяные поручни и думая каждый о своём. На лице Алексея мелькали мрачные молнии. А я улыбался. Я размышлял о драконе, о свободе и о праве на красоту. Я размышлял о праве на красоту и вспоминал об одном известном мне шраме под выбитым глазом. Затем я стал думать о жалости и о том, равна ли она для природы погибшей красоте. Наконец, у меня задрожали пальцы, я снял руку с поручня и глянул на Алексея. Те же молнии, но – чаще, ярче. Для него жалость стоила красоты.

Глава пятая

...В первый раз Алексея Коробова я увидел ненастным октябрьским днём. Я торжественно восседал на бронзовом колене Михаила Васильевича Ломоносова во дворе журфака МГУ на Моховой, и, покровительственно улыбаясь, оглядывал стайку студентов, беснующуюся у подножия монумента.

– Выше лезь! – кричали мне. – Выше! На голову заберись!

По плечам моим стучали крепкие дождевые капли, в глазах дрожали радуги, а в ушах стонал безжалостный осенний ветер.

– Выше давай! Выше! Вы-ы-ыше! – гудела толпа.

Я поднялся на ноги, обхватил Михал Василича за плечо и, глянув вниз, задумался. Мне захотелось закрыть глаза, отпустить руки, и полететь головой вниз, так, чтобы удар пришёлся лбом о гранитные плиты. Или чтобы статуя вдруг ожила, обняла меня и принялась ласково укачивать в своих больших сильных лапах. И ещё очень хотелось расплакаться.

– Выше!

– На шею ему забирайся!

Я покрепче ухватился за шею Ломоносова, и, оттолкнувшись ногой от колена, стал подтягиваться к плечу, когда внизу раздался звонкий голос.

– Да погодите вы! Не видите – плохо ему? Эй, парень! Давай, слезай!

Толпа неодобрительно заворчала, но голос был настойчив.

– Слезай, там опасно! Не дури!

Я глянул вниз. На постаменте стоял парень лет двадцати, лопоухий, веснушчатый и в белой рубашке – воплощение комсомольца с какого-нибудь зовущего на БАМ плаката семидесятых годов.

– Давай руку и спускайся, я тебя поймаю, – уверял он.

Поразмышляв несколько мгновений, я доверчиво протянул руку, и он в самом деле поймал меня, как обещал.

– Ну что у тебя случилось? – спросил он, когда я оказался на земле.

– Долго рассказывать, – ответил я. Но всё же рассказал.

Послушайте уж и вы.

Глава шестая

С чего бы ни начинал я свою историю, в памяти так или иначе всплывает одна, главная дата, разделившая моё существование на две половины: на до и после, на детство и зрелость, на свет и тьму. Эта дата – 28 марта 2000-го года. Тогда я впервые вошёл в переход между станциями метро Пушкинская и Чеховская, скинул с плеча коричневую сумку с потёртой аппликацией Микки Мауса, и, достав пачку пахнущих свежей типографской краской газет, выставил перед собой. Тогда, в первый день, торговля шла плохо. В палатке, распространявшей прессу оптом у метро «Улица 1905 года», я по неопытности купил двенадцать экземпляров «Гудка» – газета привлекла меня яркой фотографией спортсменов на первой странице. Они стояли, опираясь на лыжные палки, и улыбались задорными солнечными улыбками, так, как улыбаются люди, никогда не знавшие горя. Один из них напомнил мне отца.

«Гудок» оказался неходовым товаром – последний экземпляр я продал лишь в десять вечера. Его, вероятно, пожалев меня, купила полная старушка в зелёном плюшевом пальто.

«А где твои мама с папой?» – спросила она, передавая мне аккуратно сложенную купюру.

В ответ я расплакался горькими, тяжёлыми слезами.

– Ну не плачь, маленький, – утешала старушка, обняв меня за плечи и прижав к своей уютной, пахнущей йодом и нафталином груди. – Всё будет хорошо. Ты хочешь кушать? Пошли со мной, я тебя покормлю. Макароны с сыром любишь?

Она взяла меня за руку, и я безвольно поплёлся за ней следом. Но на платформе вдруг вырвался и шмыгнул в закрывающиеся двери уходящего поезда. Пока вагон не скрылся в тоннеле, старушка провожала меня удивлённым печальным взглядом. Я же, прижавшись к стеклу, сквозь слёзы улыбался ей. В этот момент я ненавидел весь мир.

Глава седьмая

Отец ушёл ясным весенним утром накануне моего одиннадцатого дня рождения. Произошло это со свойственной всем подлинным трагедиям прозаичностью. За день до того они с матерью что-то с час обсуждали на кухне, затем он долго и тщательно упаковывал свои вещи в два огромных синих чемодана, а после вышел за дверь и навсегда исчез из нашей жизни. Я иногда серьёзно думаю о том, хорошо или плохо то, что он не поговорил со мной, не бросил на прощание хотя бы пару слов? Если бы он пообещал вернуться, я бы ждал его всё это время, а надежда даёт силу, способную свернуть горы. А если бы простился навсегда, я бы вырвал его из памяти и, возможно, это сделало бы меня твёрже и раньше научило главному человеческому искусству – умению ненавидеть. Но он оставил после себя лишь неопределённость. Неопределённость, у которой только одно достоинство – иногда её можно принять за свободу.

Мать никогда не говорила о причинах ухода отца. Впоследствии я догадался, что виной тому была её болезнь – за полгода до того у неё обнаружили рак костей таза. Опухоль ещё не очень беспокоила, а врачи обещали, что при должном лечении выздоровление неизбежно. Но, видимо, отцу был неприятен любой дискомфорт, связанный с болезнью. Мать, до последних минут жизни любившая его без памяти, как-то назвала его утончённым человеком. Я в самом деле припоминаю, что он окружал себя красивыми вещами – носил запонки со сверкающими голубыми камнями, ходил в длинном плаще от фирмы с тревожным названием, похожим на ворчание залитого водой костра – «Гуччи», и брился серебристым лакированным станком с настоящей эбонитовой ручкой, такой тёмной, что, казалось, она способна поглощать солнечный свет. После я часто задумывался о том, как всё это удавалось ему с его зарплатой менеджера в автосалоне? Но однажды мать рассказала, что незадолго до ухода отец купил стиральную машину, взяв деньги из суммы, отложенной на лечение.

– Понимаешь, отец органически не переносил грязь, а стирать у нас было негде, – объясняла она тоном, в котором впервые в жизни я различал сомнение.

Нет, болезнь, окровавленные тряпки, рвота, унижение в очередях за лекарствами, пропахшие хлоркой и смертью больничные коридоры были, конечно, не для утончённого человека, озабоченного свежестью сорочек. Ему хотелось другой жизни – чистенькой, сытой, устроенной. Хотелось любой ценой. Такие как он искренне считают себя розами, которым судьбой назначено благоухать под утренней росой и распускать хрустальные свои лепестки навстречу солнцу. И, разумеется, розе плевать, из какой грязи тянется к небу её стебель. Чёрт возьми, иногда я мечтал убить его!

Нельзя сказать, что, оставшись одни, мы с матерью бедствовали. Она продолжала ходить на работу в своё картографическое агентство на Третьяковке, по утрам выгуливала Крамера – нашего карликового шпица, беззаботного как летний дождик, а вечерами готовила чудесные печенья с корицей. Поначалу болезнь не беспокоила её, разве что изредка она просыпалась от ломоты в ногах, и тихо всхлипывала, откинувшись головой на подушку и крепко прижав к глазам ладони. Эти звуки часто будили меня, но заходить к матери я не решался и, случалось, минутами простаивал у её комнаты на холодном полу, дрожа от страха и втягивая голову в плечи при каждом стоне. Но утром она всегда была весела.

– Что, башибузук, голову повесил? – интересовалась она, тонкой прозрачной рукой подавая мне тарелку с кашей. И я забывал о своём беспокойстве и улыбался. В этом непонятном слове – башибузук – мне слышалось что-то сглаживающее, примиряющее, прощающее. Ба-шибу-зук. Башибузук.

Однажды утром, это случилось через полтора года после ухода отца, мать впервые не смогла подняться с кровати. Приехавший по вызову врач объяснил, что в болезни наступило ухудшение, и без регулярного лечения не обойтись. Начались посещения докторов, лекарства,

капельницы, рентгеновские снимки. И везде нужны были деньги. По-видимому, сначала их хватало – у матери всё ещё оставалась значительная сумма от сбережений, да и некоторые лекарства удавалось доставать бесплатно, по рецептам. Ещё нам помогала мамина сестра – тётя Аня, маленькая толстушка с желтушным лицом и добрыми карими глазами, часто по работе приезжавшая в Москву из Орла. Так мы протянули ещё год. Но, наконец, деньги стали иссякать. Конечно, отчасти в этом была и вина матери. Она почему-то до дрожи боялась любой бюрократии, и так и не научилась как следует разбираться в документах. Возможно, знай она больше о своих правах, то оформила бы хоть какую-то помощь в городском отделе соцзащиты, смогла бы получать по льготе препараты, которые так дорого нам обходились, наконец, добились бы наблюдения в серьёзной клинике...

Я не помню, в какой конкретно момент осознал наступающую катастрофу – мать никогда не жаловалась на материальные проблемы, но приближение её, очевидно, чувствовал давно. Я помню, что мне несколько раз приходила в голову мысль о том, чтобы найти какую-нибудь работу. Впрочем, планы эти были ещё совсем детские – я то собирался заправлять машины на бензоколонке, то торговать в школе открытками, то хотел устроиться помощником к какому-нибудь состоятельному бизнесмену. Но однажды, возвращаясь со школьной экскурсией из зоопарка, заметил мальчика примерно моих лет, продававшего газеты в вестибюле метро Баррикадная. Незаметно отстав от класса, я подошёл к нему и расспросил о торговле. Мальчик смотрел на меня глазами затравленного котёнка, и говорил неохотно, глядя в пол. Каким-то шестым чувством я осознал тогда, и догадка эта неприятно, как внезапное прикосновение к коже холодного металла, поразила меня, что занятия своего он стыдится, и считает себя изгоем, непроницаемой стеной отделённым от мира обычных, нормальных детей, у которых есть школа, праздники, мороженое, поездки на море и красивые игрушки. Мира, к которому тогда принадлежал и я. Из его робкого, спутанного рассказа я узнал, что стоит он тут не с чьего-то позволения, а сам по себе, что газеты берёт в палатке на станции метро «Улица 1905-го года», и что в день зарабатывает около ста рублей.

В конце девяносто девятого матери стало совсем плохо, и она почти перестала вставать с кровати. Всё хозяйство легло на меня. Каждый день возвращаясь со школы, я находил на кухонном столе шестьдесят пять рублей – аккуратно сложенную синюю бумажку, придавленную тремя серебристыми кругляшами. По понедельникам, средам и пятницам я покупал буханку чёрного хлеба, полкило риса или килограмм картошки, а также литр молока в мягком пакете, «маечку», как называла мать. Во вторник, четверг и субботу – маленькую пачку грузинского чая в виде кубика, полкило сахара и несколько сдобных булочек. В воскресенье – растительное масло, бульонный концентрат и самые дешёвые развесные макароны, приготовление которых была настоящим искусством, потому что если не поймать во время варки нужный момент, то они или превращались в вязкую серую кашу, или противно хрустели на зубах. Однажды на столе вместо привычных шестидесяти пяти оказалось всего тридцать рублей мелкими монетами, а на другой день сумма уменьшилась уже до двадцати... Больше никаких объяснений мне не требовалось. В школу следующим утром я не пошёл. Вытряхнув из портфеля на кровать учебники с тетрадами и пересчитав сбережения, спрятанные в спичечном коробке в ящике жёлтого косолапого комода, служившего мне столом, я отправился на заработки. Выходя из комнаты, я оглянулся. При сером утреннем свете, скудно сочившемся сквозь плотные шторы, книги, небрежно разбросанные по кровати, напоминали миниатюрные развалины древнего, забытого города. То были руины моего детства.

Глава восьмая

Страшнее всех был Волосатик. Я хорошо помню его взъерошенную рыжую гриву, которой он был обязан своим прозвищем, глубоко посаженные глаза, сверкавшие холодным безразличием, и маленький нос кнопкой на бледном плоском лице. «Ну что, привет, мутант!» – говорил он, своими тонкими железными пальцами хватая жертву за плечо. Слово «мутант», видимо, очень нравилось ему, и произносил он его с оттяжкой, наслаждаясь каждым звуком: «му-у-у-тант». «Му-у-у» долго вибрировало в воздухе, как коровье мычание, а «тант» лаконично звенело, подобно щелчку взводимого затвора. Попасться Волосатику с газетами было хуже всего. Если два других милиционера – добродушный толстяк Васин и Семенко, которого за худобу и привычку ходить на выпрямленных ногах прозвали Циркулем, просто прогоняли торговцев со станции, то Волосатик обыкновенно тащил жертву в дежурку, где подвергал многочасовому допросу. Попавшись ему утром, можно было не сомневаться в том, что раньше вечера не освободишься. А, значит, товар пропадёт и – прощай, дневной заработок. Заполняя протокол своим округлым и долгим, похожим на спутанную проволоку почерком, Волосатик всегда вёл с задержанным воспитательную беседу. Говорил он длинно и нудно, с частым вкраплением канцеляризм, произносимых с таким глубоким почтением, что мне каждый раз вспоминалось то, как мать после ухода гостей бережно протирала полотенцем наши фамильные фарфоровые чашки.

– Лицо, которое нарушает закон, занимаясь торговлей на территории метрополитена, подлежит предупреждению или штрафу в размере двух минимальных окладов, – гундосил он под стук колёс проносящихся за стеной вагонов. – В случае же, если указанное лицо совершает повторное правонарушение, оно может быть подвергнуто штрафу в размере от пяти до пятнадцати минимальных окладов, или принудительным работам на срок от двух до десяти суток. Это ясно тебе?

Я обречённо кивал, ёжась от холода на кривоногом табурете и стараясь не смотреть на обезьянник в углу комнаты, за заржавелой решёткой которого возилась бесформенная чёрная масса и раздавался хриплый грудной кашель.

– А что такое административное правонарушение, к чему оно ведёт, ты в курсе? А ведёт оно, – продолжал он, не дожидаясь ответа, – ведёт оно к повышению криминогенной обстановки и созданию социальной напряжённости. Вот ты с целью личного обогащения начал торговлю газетами без соответствующего разрешения от администрации метрополитена. А что будет дальше? А дальше ты, щенок, встанешь на преступный путь, начнёшь продавать наркотики, воровать...

Говоря, он распалялся всё больше.

– И за тобой, убудком таким, вынуждены будут бегать надзорные органы. Десятки людей станут тебя ловить, учить жизни, бумажки вот заполнять! – он патетически взмахивал рукой над столом. – И всё из-за чего? Из-за того, что ты когда-то на шоколадку решил заработать? А если ты потом кого-нибудь убьёшь?..

Я всегда со страхом ожидал окончания этого монолога. Иногда Волосатик успокаивался, равнодушно пожимал плечами, и уже молча заполнял остаток протокола, но бывало и так, что он вскакивал с места, крепко хватал меня за руку, и, распахнув дверь обезьянника, с силой вталкивал внутрь. Хорошо, если я оказывался там один, или на пару с каким-нибудь бомжем, дремавшем в луже собственных испражнений. Но случалось, в клетке ко мне придвигался ушлого вида парень – какой-нибудь карманник, задержанный накануне в метро. Когда милиционер выходил из помещения, мой сосед молча зажимал мне рот пропахшей табаком ладонью, и принимался методично обшаривать карманы. Были и моменты, о которых я не хочу вспоминать...

За одно я благодарен Волосатику – то ли из боязни волокиты, то ли по собственной некомпетентности, он не передал моё дело в органы опеки. Страшно представить, как повернулась бы тогда моя жизнь. Мне едва исполнилось двенадцать лет, моя мать была лежачей больной, и возмись за меня чиновники, я почти наверняка попал бы в детский дом...

Глава девятая

Если же не считать Волосатика, то дела пошли довольно сносно. Обыкновенно я сбегал из школы с последних двух уроков, и сразу отправлялся за газетами. Матери притом говорил, что остаюсь заниматься у друзей, и она всегда без вопросов отпускала меня. Я боялся, что она сочтёт моё отсутствие предательством, но, думаю, она была даже рада тому, что я не сижу один дома, наблюдая её страдания.

Ошибку с «Гудком» я больше не повторял. Теперь я покупал популярные «Московский комсомолец» и «Вечернюю Москву», а если оставались деньги – ещё и «Советский спорт». В день удавалось заработать от ста до трёхсот рублей, из которых я откладывал половину, чтобы во вторник вечером забрать из пункта распространения тяжёлую как гирия, укутанную в толстую плёнку пачку «Семи дней». В удачное время журнал расходился за считанные часы, и приносил больше, чем все остальные издания за неделю. С другими торговцами, стоящими на станции, я подружился сразу. По правде говоря, большого труда для этого не требовалось – во-первых, сами условия нашей работы требовали доверия и взаимовыручки, а во-вторых, большинство торговцев были людьми пожилыми, и относились ко мне с некой родительской снисходительностью. Странно мне иногда вспоминать тех, с кем довелось стоять в переходе – там были и полубомжи, торговавшие газетами объявлений, чтобы выручить денег на бутылку, и непризнанные поэты, каждое утро как на алтаре раскладывавшие на грязном гранитном полу собственные книги, и даже доктора наук, оставшиеся на пенсии без средств к существованию. Это разношёрстное общество, подобного которому не встретишь нигде на свете, то и дело разругивалось вдрызг и тут же мирилось, сплетничало, унижалось перед милицией, жаловалось на жизнь и в бесконечном людском потоке томилось от одиночества. Среди них случались и бедолаги, влачившие нищенское существование, и местные олигархи, про которых говорили, что на продаже глянцевых календарей и малахитовых бус они зарабатывают миллионы, а затем покупают в Москве квартиры и машины.

Если бы меня попросили описать работу на станции в двух словах, я сказал бы: «Бег и стыд». Работая с газетами, я перемещался исключительно бегом. Бег от милиции, бег за новой порцией газет, даже на улицу – в туалет или за бутылкой воды я бежал, перескакивая через металлические ступени эскалатора. Бег был насущной необходимостью – упустишь в час пик несколько драгоценных минут, и забудь о дневной выручке. Если другие продавцы, проводившие в метро весь день, никуда особенно не спешили – товар они могли сбыть и следующим утром, то я обязан был распродать всё вечером – утром я шёл в школу.

Бег был жарок, одышлив, потлив, но однообразен. Стыд же ежедневно являлся мне во множестве мучительных образов. Он обжигал меня презрительным взглядом буржуа в верблюьем пальто, равнодушно толкал в грудь каменным плечом работяги, угрюмо бредущего на вечернюю смену, колот снисходительным любопытством девушки-подростка, коротающей в переходе время в ожидании подружки. Только теперь я понял робость мальчика с Баррикадной, открывшего мне тайны газетной торговли. В глазах прохожих мы, продавцы, мало чем отличались от нищих. В толпе меня часто обругивали, толкали, мою сумку безжалостно пинали, если она хоть чуть мешала проходу. Несколько раз меня грабили прямо в переходе, на глазах у сотни человек – и никто не приходил мне на помощь. Случалось, какой-нибудь подвыпивший шутник отбирал у меня газеты и подкидывал их над головой, и я должен был, ползая по полу, сгребать в кучу грязные листы. Когда приходилось совсем плохо, я убегал со станции, садился в поезд, и, забившись в угол вагона, невидимый никем, горько плакал над своими несчастьями. Слезы всегда приносили мне облегчение. И – детство, милое моё, розовое детство – странным образом и сам я, наконец, начинал жалеть своих обидчиков. «Они не знают, как мы живём, – наивно размышлял я. – Если бы я рассказал им о маме, о том, как тяжело приходится мне

с газетами, они бы оставили меня в покое». Однажды я в самом деле принялся навзрыд перечислять свои проблемы двум парням в кожаных куртках, решившим обшарить мои карманы. Один из них, толстяк с обвислыми щеками и прыщавым багровым лицом, рассмеялся и резко толкнул меня ладонью в лоб, так что я больно ударился затылком о мраморную стену...

Годами эти воспоминания раздражали меня, но прошлое умеет возвращать долги, и теперь они даже нравятся мне. Нравится их неизбывная пряная горечь, нравится мягкое тепло, разливающееся по жилам при мысли о том, что старые беды не вернуться, и нравится глухая тоска, напоминающая о том, что детство ушло безвозвратно.

Но я солгал бы, если б сказал, что вокруг меня было лишь зло. Оглядываясь на прошлое, я и сейчас различаю несколько ярких звёздочек, приветливо подмигивающих из вязкой чёрной мглы. Я помню маленькую сухую старушку Марию Алексеевну, продававшую на станции цветы. Она часто приносила мне то новые ботинки, то пальтишко под мой размер, то несколько ситцевых рубашек. Ефим Николаевич, хмурый суеверный белорус, торговавший лечебными травами, каждый день угощал меня чашкой чаю из термоса и пирожком с повидлом. Саша и Лера – молодые супруги, стоявшие с китайским ширпотребом, часто отдавали мне что-нибудь из нераспроданного товара – сумку, зонт или набор тетрадок. И удивительно, с каким тактом преподносились эти подарки. У нищих собственная гордость, и я скорее бросился бы под поезд, чем согласился принять от кого-то милостыню. Когда Мария Алексеевна в первый раз принесла мне одежду, я наотрез отказался что-либо брать у неё. Отвернувшись в сторону и краснея как рак, я сбивчиво бормотал что-то о том, что дома у меня всё есть, что мама недавно купила мне целую кучу замечательных вещей, которые я не ношу, чтобы не испортить, что подарки велики, и не подойдут мне... Тогда она придумала хитрость – сложив одежду в пакет, она незаметно поместила его в переходе неподалёку от меня. Вечером, уходя домой (я всегда покидал станцию последним), я забрал его с собой, полагая, что он забыт кем-нибудь из наших. Но на другой день оказалось, что пакет ничейный, и мне не оставалось ничего иного, как взять его себе. Так она поступала и после. Я, конечно, немедленно догадался о том, кто моя благодетельница, и если бы добрая старушка выдала себя хоть одним словом или жестом, я тут же вернул бы подарки. Но за два года она ни разу не сказала этого слова, и не сделала этого жеста... Ефим Николаевич, идя обедать, всегда дёргал меня за плечо. «Пошли, что ли, посидим со мной? – мрачно произносил он. – Не могу один есци». Я нехотя соглашался, каждый раз снова убеждая себя, что не приму от него угощения. Но во время еды он вдруг начинал жаловаться на «клятый шлунак» (желудок), который вновь у него «заплыл желчью», и, театрально охая и хватаясь за живот, всё-таки уламывал меня скушать пирожок и выпить чашку чая. «Испортится же пицца», – ворчал он, с упрёком глядя своими огромными изумрудными глазами, в которых бушевали былинные беловежские просторы.

Часто случайный прохожий останавливался поговорить со мной, подробно расспрашивал о жизни и работе, и, сочувственно покивав головой, уходил, напоследок сунув в ладонь пару влажных полтинников. Какая-нибудь жалостливая тётушка порой угощала меня бутербродом с колбасой или шоколадкой. Один глухонемой старик, лысый как яйцо и с понурым коровьим взглядом, ежемесячно одаривал меня кремовым тортом. Неразборчиво промывав что-то, он ласково трепал меня по волосам и торжественно вручал роскошную, пахнущую парными сливками картонную коробку. Не знаю, чего стоила бедняге эта щедрость, но можно представить, какой необыкновенной радостью было подобное угощение для меня, порой целыми неделями сидевшего на одном хлебе с чаем.

Все эти люди ничего от меня не ждали, ни на что не рассчитывали, и именно потому они сберегли мою чёртову веру в человечество, веру, которая мучает меня больше той дыры в желудке размером с грецкий орех, через которую утекает сейчас моя жизнь.

Глава десятая

Наверное, поначалу я слишком преувеличивал наши семейные трудности. Не пойдя я продавать газеты, и мать где-нибудь, да достала бы денег. Она ещё была в полном сознании, и вполне могла позвонить кому-нибудь из знакомых, сестре, в конце концов – обратиться за помощью к начальству на работе. Но со временем мой заработок стал нам необходим. Мать всё чаще находилась в бессознательном состоянии, переходном между жизнью и смертью, и материальные проблемы совсем перестали её волновать. Думаю, она даже не очень беспокоилась о том, откуда берутся средства на продукты и лекарства, а если бы и знала, то вряд ли бы остановила меня. Жалость – роскошь, которую могут позволить себе лишь благополучные и здоровые, болезнь же и бедность всегда эгоистичны.

Примерно раз в месяц мы ходили к врачу. Мучительнее этих моментов не было ничего. Начиналось всё с раннего утра, когда я должен был одеть мать, накормить, собрать все необходимые документы, а после – довести до поликлиники, что находилась в километре от нашего дома. Даже заставить мать встать с кровати было непросто. В её комнату я заходил задолго до рассвета, часов в шесть. «Мама, вставай! Вставай, мама!» – шептал я, теребя её за тёплое костлявое плечо. Она долго шептала что-то про себя, отворачивалась к стене, даже гнала меня, но, наконец, просыпалась. Одевать её было страшно. К тому времени она сильно похудела, и в своей прозрачной белой ночнушке, испачканной испражнениями, напоминала покойницу в саване, как их изображают в фильмах ужасов. Поднявшись с постели, она долго стояла голыми ногами на холодном полу, покачиваясь от слабости и злобно бормоча что-то под нос, словно проклиная Бога за то, что ей предстоит прожить на Земле ещё один день. Меня в первые моменты не узнавала, и когда я подходил с одеждой, в ужасе отшатывалась, смотря с таким удивлением и возмущением, что я, порой, в слезах выбегал из комнаты. Иногда, постояв немного, она бессильно валилась обратно на кровать, и какого труда мне стоило тогда заставить её подняться снова! Наконец, позволяла одеть себя, и мы выходили из дому. Каждая лужа на нашем пути, каждая кочка, была для матери непреодолимым препятствием, перед которым она в недоумении останавливалась. До больницы, расположенной в километре от нас, мы добирались не меньше чем за два-три часа. Там – длинная, тяжёлая очередь. Измождённые, уставшие люди с худыми синими лицами. Вонь, духота, невнятное бормотание, стоны, внезапные вскрики... Главное же, что вся эта пытка была совершенно бесполезна. Врач просто выписывал рецепты на самые необходимые лекарства, и отправлял мать на «амбулаторное лечение». Это означало – идти домой умирать.

К середине 2001-го года я вынужден был бросить газеты. Началось знаменитое лужковское «наведение порядка» в метро. Стоять на станции стало невозможно – милиция ходила через каждые двадцать минут, и уже не ограничивалась простым разгоном торговцев. На нас стали составлять протоколы, выписывать огромные, неподъёмные штрафы... Сначала я нанялся раздавать листовки у входа в метро, потом торговал бусами, затем в компании двух таджиков вставлял пластиковые окна. К концу осени я нашёл работу в прачечной на Курской, сначала показавшуюся мне очень лёгкой, но к концу первого же дня вымотавшую настолько, что я буквально потерял способность говорить и мыслить. Однако, вскоре мне повезло – по объявлению я устроился курьером в «Российское агентство страхования», расположенное на третьем этаже похожего на уют стеклянного делового центра «Восток» неподалёку от Павелецкой. Работа оказалась проста – надо было носить документы из офиса в офис на подпись, а после – развозить их по различным государственным учреждениям. Иногда мне поручали доставлять подарки – «благодарность», как это называлось, московским чиновникам. То я волок в мэрию пахнущую ванилью и мускусом корзину, наполненную деликатесами, то отвозил пыльную, с потёртой этикеткой, бутылку коньяка чиновнику из префектуры, то,

кряхтя и сгибаясь под тяжестью ноши, тащил бронзовый письменный прибор в местное отделение милиции. Очевидно, в этой деятельности было нечто, не совсем законное, потому что меня каждый раз снабжали подробной инструкцией на случай, если что-то пойдёт не так. «Ваня, смотри, как зайдёшь к Анатолию Николаичу, сразу ставь коробку на стол секретаря, и выходи, не задерживаясь, – заговорщическим тоном внушала мне менеджер по связям с общественностью Ира, кудрявая блондинка с прокурренным голосом и наивными небесно-голубыми глазами. – Там знают от кого это. Если в кабинет зайдёт такой толстый, лысый мужик и спросит, откуда ты, скажи, что курьер из магазина. Если тётка в синей кофте с помпонами будет приставать, объяснишь, что тебя на улице остановили и попросили занести коробку, а кому – ты не знаешь. И, главное, побольше помалкивай, да под дурачка коси».

В агентстве платили семь тысяч рублей в месяц – деньги по тем временам огромные, особенно учитывая то, что большую часть времени я был предоставлен сам себе. Вся работа оканчивалась в шесть часов, с уходом из офиса последнего сотрудника, я же оставался в экспедиционном отделе – тесной холодной комнатке возле серверной, и до восьми вечера занимался своими делами – пил чай с шоферами, делал уроки, играл на компьютере... Один такой вечер, в самом начале октября 2002-го года, я запомнил навсегда. Перед самым моим уходом в экспедиционную постучались. На пороге стоял маленький бородач в лимонно-жёлтом плаще, с блестящими как мытая вишня энергичными глазами.

– А молодёжи кроме тебя больше никого нет? – хлопоча лицом и заглядывая мне через плечо, поинтересовался он.

– Нет, я один, – ответил я.

– Ну пошли, пошли тогда со мной, – сказал он, маленькой цепкой лапкой ухватив меня за локоть.

– Давно тут работаешь? – спрашивал он через минуту, бесцеремонно волоча меня по тёмному пустому коридору.

Я рассеянно кивнул, с беспокойством оглядываясь по сторонам.

– Видел внизу табличку – «Новая школа журналистики»? Вот это мы. Сегодня к нам Марианна Максимовская приезжает, а народу пришло мало. Гаврики наши кто на учёбе, кто болеет, кто экзамены сдаёт. Посидишь часок, чаю выпьешь, пообщаешься с интересной женщиной. Слышал о Максимовской, а? Ну, телеведущая?

– Н-н-нет... – неуверенно промямлил я.

– Ничего, освоишься! – безапелляционно заявил он.

Через минуту мы оказались в широкой чистой зале, похожей на кинотеатр, с пятью рядами мягких кресел и небольшой трибуной у стены. В углу, на отдельном столике, были приготовлены бутерброды и напитки. Сама встреча мне почти не запомнилась – красивая рыжая женщина что-то рассказывала о журналистской этике, правах корреспондентов, каких-то своих встречах с политиками – словом, о вещах, совершенно мне не интересных. Я скучал, глядел в окно, и один за другим уплетал бутерброды. Но на выходе из аудитории мой новый бородач знакомый поймал меня за руку.

– Слушай, раз уж ты здесь, не хочешь ли к нам записаться? – спросил он.

Краснея и отворачиваясь в сторону, я начал лепетать что-то о занятости, об отсутствии лишних денег...

– Да не надо денег! – замахал он руками. – До конца семестра учишься бесплатно. Не понравится – уйдёшь в любой момент. Ну что, договорились?

Я отмалчивался.

– Журналистом станешь, будешь по всему миру ездить, с интересными людьми встречаться. – уговаривал он. – Ты хоть попробуй!

Я нехотя кивнул.

– Ну вот и прекрасно, – обрадовался бородатый, и тут же принялся энергично хлопать по карманам. – Эй, Санёк! – оглянулся он на худого паренька в джинсовой куртке, разбиравшего на столе в углу бумаги. – Ручка есть?

Неизвестно, как повернулась бы моя судьба, не окажись у Санька ручки. Но ручка нашлась, и мой собеседник, вырвав из блокнота лист, тонким косым почерком набросал номер своего телефона, и торжественно вручил бумажку мне.

– Ну вот и всё! С завтрашнего дня ждём тебя на занятиях!

Глава одиннадцатая

Новая жизнь началась для меня незаметно. Я всё так же ухаживал за матерью и работал курьером, между делом успевая кое-как учиться, но центром моего мира, вытеснив всё остальное, постепенно стал залитый лимонно-жёлтым светом зал с двумя шеренгами лакированных красных парт. И – низкий хриловатый голос, то торжественно, то таинственно, то тревожно, подобно звуку набата, звучащий в его стылом пространстве. Зал находился на первом этаже нашего офисного центра, а голос принадлежал новому моему знакомому – Ефиму Николаевичу Базелеву, основателю и директору «Новой школы журналистики». Мало чему я удивлялся в жизни так, как этому человеку. Он, несомненно, был создан для монументальной работы. Во времена торжественного итальянского Возрождения он, вероятно, стал бы великим художником, в США конца позапрошлого века – могущественным стальным магнатом, а в сталинские годы – учёным, кропотливо постигающим тайны атома. Такие люди умеют увлекаться до умопомрачения, самозабвения, и зачастую становятся затворниками, полностью посвящая себя одному своему призванию. Но судьба определила ему родиться в России, а Россия – страна, в которой ничто не делается в одиночку. Он никогда не оставался без компании – везде у него были знакомые, деловые партнёры, друзья, различные нужные и полезные люди. Он чрезвычайно легко умел сойтись с человеком, и тут же вовлекал его в свои дела – звал на какую-нибудь презентацию, знакомил с кем-нибудь, уговаривал приняться за совместный проект. Я с удивлением узнал несколько лет спустя, что большинство приглашённых лекторов в нашей школе (а у нас побывали почти все звёзды отечественной журналистики), едва знали Базелева – кого-то он подцепил за локоть на модной вечеринке, кто-то был дальним приятелем, коих у него имелось несколько сотен, если не тысяч, ещё с кем-то столкнулся в коридоре Останкинского телецентра... В молодости Базелев работал в «Московском комсомольце», но рамки журналистики оказались тесны ему. В девяностых ему удалось развернуться. Он стоял во главе десятка фирм – продавал компьютеры, делал колбасу, выпускал какую-то необыкновенную пластмассу... Но, ни на чём не задерживаясь подолгу, так и не смог сколотить хоть какого-то состояния. После краха очередного предприятия, он решил вернуться в журналистику, но и тут не успокоился. Запустил несколько новостных сайтов, организовал небольшое издательство, и даже открыл крохотную типографию где-то в Кузьминках. Одним из его проектов была и наша школа журналистики, в которой он оказался одновременно директором, бухгалтером, завхозом и единственным преподавателем. Каждая его лекция была представлением. Начинал он обыкновенно скучно – с разъяснения профессиональных терминов, повествования о правах журналистов, этике, и так далее. Но по ходу выступления всё более увлекался, и, наконец, полностью преобразался – маленький бородатый мужичок в поношенном чесучовом пиджаке исчезал, и на сцену вступал гигант с громовым голосом, глазами, сверкавшими молниями и мощными молотоподобными руками, энергично рубившими холодный воздух аудитории. Его страстью были журналистские расследования. Он наизусть цитировал статьи Боровика, Политковской и Холодова, рассказывал о зарубежных поездках, горячих точках, о корреспондентах, внедрявшихся в банды и секты, даже вступавших в ряды террористов.

– Журналист – это не профессия. Это миссия! – торжественно вещал он, закинув голову и сложив руки на груди наподобие римского сенатора, выступающего с обличительной речью против врагов *Patria dilectus*. – Понимаете: мис-сия! Он берёт на себя обязанность обеспечивать общество самым ценным – информацией, и для этого должен быть готов ко всему, к любым жертвам. Не верьте тем, кто говорит, что журналист – это профессиональный дилетант. Хороший журналист одновременно высококлассный военный, актёр, путешественник, медик, строитель. Вот, к примеру, был такой немецкий корреспондент – Гюнтер Вальраф. Как-то он решил написать репортаж об условиях труда мигрантов в Германии, и для этого покра-

сил волосы, придал коже смуглый цвет, и устроился в «Макдональдс», назвавшись арабом Али. Проработал он там несколько месяцев, и каждый день гримировался, говорил с акцентом, подчинялся любым, самым оскорбительным распоряжениям начальства. И за всё это время никто, вы только представьте – никто, ни один человек в ресторане, включая настоящих арабов, не усомнился в его легенде! Подумайте, кто из профессиональных актёров выдержал бы такое испытание? Или другой журналист, уже наш, российский – Юрий Пожаров, был ранен в центре Грозного, и с сопровождавшим его сотрудником милиции скрывался от террористов в подвале разрушенного здания рядом с площадью Минутка. В двадцати метрах от них боевики устроили свой лагерь, и Пожаров сквозь закоптелое подвальное окошко каждый день наблюдал как они ели, пили, справляли нужду, устраивали советы, допрашивали пленных. Выбраться из здания незамеченными оказалось невозможно, еды у ребят было всего ничего – две бутылки кока-колы и пачка сосисок. Кроме того, на третий день у милиционера начался нервный срыв, его мучили галлюцинации, он пытался кричать, рвался сдаться боевикам. И вот представьте – Пожаров не только сам сохранил присутствие духа, но и смог успокоить милиционера. Двадцать дней они вместе просидели в каменном мешке, почти не шевелясь, пока бандиты не перенесли стоянку в другое место. Ну какой психолог, какой специалист по выживанию способен на такое? А ещё был Юрий Сенкевич, вырезавший себе аппендицит во время путешествия в Антарктиде, и попавший за это в книгу рекордов Гиннеса, и Тур Хейердал, на плоту и углой деревянной лодчонке обошедший половину мира...

Меня захватывали эти рассказы. Я воображал себя то боевиком в чеченском отряде, тайно спасающем пленных солдат от казни, то матросом на браконьерском судне, то бесстрашным обличителем всевластных коррупционеров. Прежде я никогда не мечтал – моя жизнь была зажата в четырёх мрачных стенах, среди запаха испражнений и ядовитых аптечных ароматов, для мечты же нужен широкий простор. Базелев подарил мне этот простор. Я впервые задумался о будущем, об иной жизни, нежели то угрюмое, постылое существование, которое влачил по сей день. Я ещё не знал, хочу ли быть журналистом, но возможность очень заинтриговала меня.

В базелевской школе мы каждую неделю готовили по статье на тему, заданную нашим преподавателем, а затем он разносил их по различным газетам, где у него имелись связи. После публикации каждый материал заверялся печатью, подписывался, и складывался в определённый портфель, необходимый для поступления на факультет журналистики МГУ. Всего нужно было сдать пять заметок для дневного отделения, и десять – для вечернего. Задания давались самые разные – к примеру, требовалось рассказать о ливневой канализации, об истории московского трамвая, или о бедах какой-нибудь многолетней семьи, долгие годы стоящей в очереди на жильё. Мы сами собирали материал, отыскивали телефоны нужных чиновников, брали интервью. Затем Базелев внимательно прочитывал каждый текст, отмечая ошибки огромным красным карандашом. Во время этого процесса студенты, не дыша и не шевелясь, стояли вокруг его стола.

– Так, так, так... – бормотал он, ведя карандашом по строчкам и рисуя в конце предложений маленькие кружочки, похожие на божьих коровок. Закончив проверять текст, он обычно перечёркивал его по диагонали, резюмируя: «Пошлость!» Студент вздыхал и с опавшим сердцем отходил от стола. Из всех материалов отсеивалось процентов девяносто, и только изредка Базелев довольно крякал: «Прилично!» – и втискивал статью в худенькую стопку, предназначенную для публикации.

Как ни странно, писать у меня получилось, и мои сочинения чаще других откладывались в стол. Наверное, у меня действительно имелись некие способности, но главную роль сыграло всё же другое – мне очень хотелось отличиться перед своими однокашниками по журналистской школе. Позже я часто презирал себя за эту банальность, но, конечно, тут не было ничего удивительного. Из-за болезни матери почти всю сознательную жизнь я провёл в тени,

и если был прежде замечаем сверстниками, то только для того, чтобы стать объектом насмешек и издевательств. Здешние же ребята обращались ко мне по имени, а не «эй ты!», как в школе, показывали свои заметки, прежде чем отдать преподавателю, приглашали в гости, и вообще, считали своим в доску. Всё это особенно льстило мне потому, что мои новые приятели были детьми из обеспеченных семей, я же по-прежнему оставался нищим. Я чувствовал себя тем немецким журналистом, о котором рассказывал Базелев, с той единственной поправкой, что тот, перевоплощаясь в араба, спускался по социальной лестнице, я же поднимался по ней.

Весной две тысячи пятого года я подал документы на журфак МГУ, и, успешно сдав совсем не сложные экзамены, был зачислен на учёбу. Я отчётливо помню тот роскошный сияющий августовский день, когда я нашёл свою фамилию в списке учащихся первого курса, вывешенном в тёмном холле здания на Моховой. День, когда я пешком обошёл половину Москвы, захлёб мечтая, жмурясь на яркое солнце и уплетая мороженое. День, когда я впервые почувствовал дыхание настоящей, взрослой жизни, и ярко осознал, что люди понимают под счастьем.

День, когда умерла моя мать.

Глава двенадцатая

Вернувшись вечером домой, я нашёл её лежащей на полу у кровати. В руке она сжимала пластиковый чехольчик от градусника. Этот чехольчик долго преследовал меня. Зачем мать взяла его? На прикроватном столике, где находился градусник, лежали ещё бумага с фломастером. Когда мать была в сознании, она писала мне небольшие записки – к тому времени рак распространился на лёгкие, и говорить она уже не могла. Наверное, чувствуя приближение смерти, она протянула руку за фломастером, чтобы оставить мне какую-нибудь записку, но перепутала его с чехлом. Мысль о том, что именно она могла написать в этой записке, по сей день жжёт меня. Хотела ли она извиниться за то, что из-за болезни не смогла отдать мне те любовь и ласку, что положены ребёнку от матери? Или винила за то, что меня не оказалось рядом в последние минуты? Или... Но нет, об этом я не мог подумать без страха и отвращения. Примерно за полгода до смерти мать впервые подняла эту тему, и впоследствии не проходило дня, чтобы она не напомнила о ней. Она хотела встретиться с отцом. Я как мог уходил от разговора, но она была настойчива.

– Ваня, а что если отцу написать? Может быть, он приедет? – говорила она, и её яркие голубые глаза умоляюще смотрели из впалых чёрных глазниц.

– Мам, ну куда он приедет? – бормотал я, отворачиваясь в сторону – этот взгляд жёг меня. – Он, наверное, живёт сейчас где-то далеко, не в Москве, и у него своя семья... может быть, даже дети.

Напоминание о том, что отец мог найти другую женщину, доставляло матери физическое страдание, её лицо искажала судорога, она замолкала и отвернувшись к стене, поджимала ноги к животу. Мне было страшно смотреть на неё, но ещё страшнее было бы выполнить её просьбу. Наверное, отыскать след отца не составило бы особого труда. Смутно я представлял, что у него ещё имелись некие обязанности по отношению к нам. Несмотря на то, что с матерью он давно развёлся – бумаги пришли по почте спустя год после его ухода, я всё-таки оставался его сыном, и по закону он должен был как-то участвовать в моей жизни, по крайней мере платить алименты. Следовательно, можно было обратиться в какие-нибудь органы, которые помогли бы найти его – в прокуратуру, соцзащиту, в опеку... Но я лучше вскрыл бы вены, чем сделал это. Отца я ненавидел всей душой. В детстве я ещё не создавал ни нашего положения, ни причин, по которым он ушёл. Мне казалось, что для этого был какой-то серьёзный, взрослый повод, ещё недоступный моему детскому пониманию. Но чем старше я становился, тем больше меня возмущала чудовищная подлость происшедшего. Бросить тяжело больную женщину и маленького ребёнка наедине со смертью и нуждой – в этом было что-то бесчеловечное, изуверское... Я ещё понял бы, будь у нас в Москве какие-нибудь родственники, способные взять меня и мать на попечение, но отец прекрасно знал, что оставлял нас на произвол судьбы – у матери из близких имелась только сестра, но та сама нуждалась, да и жила очень далеко. Мать часто с благоговением повторяла, что отец был твёрдым человеком – однажды решив что-то, он к вопросу больше не возвращался. Возможно, пять лет назад он в очередной раз проявил эту свою хваленую твёрдость. «Да протянут как-нибудь», – наверное, подумал он, выходя за дверь, и все те годы, что мать медленно умирала, от боли царапая ногтями стены, а я голодал и ходил в обносках, ни разу о нас не вспомнил. При мысли о том, что он даже гордился этим поступком, подтверждающим его принципиальность и несгибаемость, меня охватывало холодное бешенство.

А что если б он всё-таки согласился приехать? Я часто представлял себе эту сцену. Мать, моя бедная больная мать, наверняка переволновалась бы и, собрав все силы, приготовила бы что-нибудь на стол и, конечно, нарядилась перед встречей. Как она хотела ему нравиться! Но увидев её бледное высохшее лицо с пятнами под глазами, похожими на чернильные кляксы,

он бы только брезгливо поморщился, а затем всё время простоял бы где-нибудь в углу, глядя в пол, стараясь не дышать раковым смрадом и односложно отвечая на вопросы. И, поспешив придумать какой-нибудь предлог, накинул бы своё дорожное пальто и поспешно убежал, вжав голову в плечи, как тогда, пять лет назад. Я уверен, что это свидание, случись оно в действительности, убило бы мать намного раньше отведённого ей срока. Нет, даже если на то была её последняя воля, я не желал разыскивать отца. Я хотел одного – стереть из памяти его имя, и никогда больше не видеть его самого.

Похоронами занималась тётка Анна, по телеграмме соседней приехавшая из Орла. Вместе с ней в дом снова вошли жизнь и движение. Она моментально разобралась со всеми мелкими вопросами – привела в порядок документы, договорилась с какими-то людьми из похоронного агентства, чтобы они обмыли и переодели мать, купила гроб и место на кладбище. С утра до ночи у нас было не протолкнуться. Каждые пять минут в дверь звонили, в коридоре слышались незнакомые голоса и тяжёлая поступь, кто-то без конца гремел мебелью, ронял посуду, вполголоса ругался... Несколько раз вызывали и меня – заверить какие-то бумаги, подписаться под медицинским протоколом или в счёт за ритуальные услуги. А затем были похороны. Провожали мать только мы с тёткой – знакомые давно не навещали нас, а сам я и не знал, где их отыскать, и не имел на то моральных сил. Я помню длинный гроб с серой блестящей крышкой, помню трёх мужчин в чёрных костюмах и с пустыми лицами, аккуратно нёсших его на округлых могучих плечах, помню мелкий дождик, раздражавший меня именно потому, что он был мелкий – мне хотелось грозы, молний, ливня... Помню землю, падавшую на гроб, и помню ощущение отчаяния в тот момент, когда крышка окончательно скрылась под землёй. От кладбища мы ехали на автобусе. Знакомые места по дороге домой сплошь представлялись мне чем-то необычным. Казалось, я вижу эти высотки, парки, дорожки впервые, и всякий раз между ними находилась какая-нибудь деталь, необыкновенно удивлявшая меня. Всё вокруг словно сговорилось, чтобы раздражать меня. Почему я никогда не обращал внимания на то, как разрослись две липы возле кинотеатра «Иллюзион»? В этом буйстве природы, в толстых, переплетённых ветвях, похожих на сцепленные мускулистые руки, мне виделось что-то безобразное, противоестественное. Почему скамейки в сквере выкрашены в такой странный, режущий глаза синий цвет? Почему всё вокруг – здания, тротуары, фонари, такой правильной, до отвращения симметричной формы? Мне становилось тошно смотреть в окно, я закрывал глаза и видел пустоту. Густую, гиблую пустоту, в которой хотелось увязнуть, пропасть навсегда...

Вечером мы с тёткой сидели на кухне. Говорили о матери и её болезни, об отце, о жизни после его ухода. Тётку мой рассказ поразил. Оказывается, она не имела ни малейшего понятия о наших несчастьях. Слушая о том, как я продавал газеты на станции, работал курьером и ухаживал за матерью, она только качала головой, прищёпывая: «Бедный мальчик!» К моему удивлению, мать почти ничего не рассказывала ей ни о расставании с отцом, ни о своей болезни. Тётка была искренне уверена, что отец уходил от нас совсем ненадолго, а после вернулся, и что её сестра болеет какой-то лёгкой формой рака, причём активно лечится. Не знаю, зачем мать обманывала её все эти годы. Наверное, сначала она и сама верила в то, что возвращение отца – дело ближайших недель, а болезнь её, как и обещали когда-то врачи, вполне излечима. А после, когда действительность не оставила места для иллюзий, не хотела, чтобы любимый муж представлялся в дурном свете в чужих глазах, и вместе с тем не желала становиться тёте Ане обузой. Возможно, за этим молчанием скрывался и какой-то давний конфликт с сестрой. Тётка однажды обмолвилась, что мой отец ей не нравился до такой степени, что она отказалась приехать на их с матерью свадьбу...

Больше всего тётю Аню поразило то, что нами в нашем положении за три года ни разу не заинтересовались никакие государственные службы.

– Ну а что же в школе? Неужели никто не удивлялся, что мать не ходит на родительские собрания? – возмущалась она.

– Я говорил, что она болеет, – отвечал я. – В крайнем случае, соседей просил сходить.

– Ну а из ЖЭКа или собеса никто не приходил?

– Нет, никого не было.

– А что же врачи? Врачи разве не знали, что выписывают дорогие лекарства, а женщина не работает и не может себе их позволить?

– В больнице меня тоже ни о чём не спрашивали.

– Ну и дела, ну и дела... – растерянно пожимала плечами тётка.

Но меня всё это не удивляло тогда, и не удивляет сейчас. Тусклые лучи общественного внимания освещают лишь выдающееся – или чрезвычайную нужду, которую невозможно скрыть, или такое же чрезвычайное богатство. Мы же с матерью жили в тени, в той вечной тени, что с начала времён в бескорыстной своей заботе о бесценном общественном спокойствии скрадывает и умаляет людские страдания. В школе мной не интересовались – я учился с тройки на четвёрку и не доставлял учителям проблем, врачей наши трудности не волновали, социальные службы и милиция к нам не навевались потому, что мы никак о себе не заявляли – не просили о помощи и не устраивали скандалов...

Тётка уговаривала меня отправиться с ней в Орёл, но я наотрез отказался – у меня в кармане уже лежал студенческий билет, и я был твёрдо намерен учиться. Перед отъездом она оставила мне свой домашний телефон, и около десяти тысяч рублей наличными – всё, что имела с собой. Вернувшись вечером с вокзала, я зашёл в опустевшую комнату матери, где резко пахло карболкой и лекарствами, и без света просидел там до утра. Глядя на бледные уличные тени, которые, то увеличиваясь, то сжимаясь, скользили по тёмным стенам, я вспоминал события последних дней. Я видел лицо матери с резко очерченными под тонкой, пергаментно-жёлтой кожей скулами и сухими малиновыми губами. Она шептала мне что-то и улыбалась так, как только и умела улыбаться в последние месяцы перед смертью – в мучительном усилии едва растягивая уголки губ. Видел сотрудников похоронного агентства, в фигурах и привычных, округлых движениях которых читались усталость и безразличие, слышал дробный, сухой стук земли о гроб... Одна за другой меня охватывали противоположные эмоции – я то жалел мать, то винил себя за то, что не был рядом с ней в последние минуты, то ругал отца. Но главным впечатлением, подавлявшим все остальные, было горькое, сосущее ощущение одиночества. Я отчётливо осознал, что остался один, совсем один на всём чёртовом свете.

Глава тринадцатая

Смерть матери оказалась для меня полной неожиданностью, к которой я совершенно не был готов. Возможно, взрослому человеку, терявшему близких уже в зрелом возрасте, странно будет прочесть эти строки. Но ребёнок воспринимает жизнь иначе. Я вовсе не считал смерть матери чем-то неизбежным. Мне всё казалось, что она вот-вот пойдёт на поправку, что новое лекарство, выписанное доктором, окажется спасительным, что физические упражнения, которые рекомендовали в больнице, резко изменят её состояние. Каждое улучшение самочувствия, которые так часто бывают даже у самых тяжелых больных, я принимал за начало выздоровления, и отказывался верить в скорый исход даже тогда, когда болезнь окончательно приковала мать к кровати. «Просто нужно подождать, потерпеть немного, и она поправится», – уговаривал я себя. Уход её я никак не мог принять. Главное, он казался мне какой-то невероятной, чудовищной несправедливостью, которой просто не может быть на свете. Несмотря на всё перенесённое, на все невзгоды, на нищету, я, как ни странно, сохранял какую-то веру в то, что можно назвать мировой гармонией. Это было какое-то странное ощущение гуманизма мира, свойственное только детям, некая религия без бога. После смерти матери вера эта пошатнулась. Сначала у меня случился приступ депрессии – две недели я пролежал дома на кровати, никуда не выходя, не принимая пищи и почти без сна. Затем был затяжной приступ тоски, когда я метался от одного к другому – то подолгу шлялся по улицам, то часами сидел в каком-нибудь кафе, забившись в угол и ощупывая посетителей холодным злым взглядом, то заводил ссоры, а однажды, купив в магазине две бутылки водки, впервые в жизни напился до потери сознания. На учёбу, начавшуюся в начале сентября, я ходил раз от раза – пропускал важные лекции, не общался со сверстниками, грубил преподавателям. Знания меня не интересовали – на лекциях я ничего не записывал, на семинарах не отвечал, и до октября даже не получил в библиотеке учебники. У меня вдруг обнаружилась склонность к странным выходкам. Однажды я стащил у однокурсника важную тетрадь с записями, и Бог знает зачем порвал её и смыл в туалет. Затем выкинул ключ от аудитории, переданный мне преподавателем, и наша группа в течение часа дождалась в коридоре, пока из учебной части не принесли дубликат. Когда же мне предъявили претензии по этому поводу, я устроил скандал с истерикой и криками, чудом обошедшийся без драки. В другой раз заметил, что нравлюсь однокурснице – милой маленькой брюнетке, видимо, принявшей мою нервную вздорность за некую эксцентричность. Она часто подходила ко мне под разными предлогами, и когда это случилось снова, я при всех обнял её и насильно поцеловал в губы. Девушка расплакалась в три ручья, как маленькая, убежала, и после старалась держаться от меня подальше. Были и другие проделки такого же рода. Если бы не последняя выходка со статуей и не последовавшее за ней избавление, я бы и дальше катился по наклонной, и через пару месяцев наверняка добился исключения из университета.

...Всё это я поведал своему новому знакомому, сидя на металлической скамейке под тяжёлыми дубовыми ветвями в Александровском саду. Впервые я так подробно рассказывал о себе – и кому? Совершенно чужому, постороннему человеку... Я говорил взахлёб, перебивая сам себя и скача с одного на другое – совсем как маленький ребёнок жалующийся взрослому на обиды. Но клянусь – если бы Алексей в этот момент отнёсся ко мне хоть чуть снисходительно, я бы возненавидел его на всю жизнь! Но он слушал с осторожным вниманием, подперев щёку своей худой ладонью, не перебивая и не задавая вопросов. Смешно, но во всей Москве был, может быть, десяток человек, которые могли по-настоящему понять меня, и которым хватило бы ума и такта не приставать с дешёвым сочувствием. И одним из них был он – Алексей Коробов – мой будущий лучший друг и смертельный враг в одном лице. Он много раз говорил после, что во мне увидел себя. Он также из бедной семьи – его отец ослеп на один глаз и лишился ног после аварии на заводе, а мать получала гроши, работая медсестрой в поли-

клинике. Алексею не пришлось самому зарабатывать деньги, но все домашние заботы легли на него – он должен был водить двух младших братьев в садик и школу, обстирывать их, обшивать, следить, чтобы они всегда были накормлены и здоровы. Между делом он помогал и отцу, который устроил дома небольшую гончарную мастерскую и делал на продажу горшки и тарелки. Всё это было, конечно, тяжело, но вообще детство Алексея нельзя было сравнить с моим. Его семья жила, что называется, в тесноте, да не в обиде, и была бедна, да и только. А между бедностью и нищетой – пропасть, глубиной с Марианскую впадину. Бедность только укрепляет характер, подобно тому, как небольшой морозец закаляет тело, нищета же, как арктическая стужа – сушит и истощает. Алексей не представлял, каково это – голодать два дня подряд и не знать, будешь ли есть на третий, не знал, что значит ходить в дырявой обуви с картоном вместо стелек, к вечеру превращающимся в холодную коричневую кашу, трястись от страха в ожидании того, что вьюга, зимними вечерами гудевшая в окнах, выдавит из рамы стекло в твоей комнате, и ты замёрзнешь насмерть. У него не было неизлечимо больной матери, он не унижался перед рэкетирами, умоляя оставить на хлеб хотя бы двадцать рублей из дневной выручки, не сидел в грязном обезьяннике до поздней ночи, и не сбегал следующим утром с уроков, чтобы простоять целый день на станции в безнадежной надежде сбыть вчерашние газеты...

Первое время мне было даже лестно то, что Алексей ставит свои детские несчастья на одну доску с моими. Затем, когда я научился уважать своё прошлое, это сместило меня. Теперь же я ненавижу его за это.

Глава четырнадцатая

Алексей поступил на журфак не случайно, как я, а вполне осознанно. Была там какая-то история о бабке из соседнего подъезда, которой долго не чинили электричество, а после его заметки в районной газете из ЖЭКа всё-таки прислали монтера. Словом, нечто в этом роде, не помню подробностей. Главное, что этот случай настолько вдохновил его, что он решил стать журналистом. И к делу подошёл серьёзно. Чуть ли ни три года он готовился к поступлению: занимался до седьмого пота, упражнялся в написании статей, читал книги об известных корреспондентах, и так далее. Словом, ужасная банальщина, похожая на сюжет какого-нибудь духоподъёмного американского фильма. Вообще, Алексей, как и почти все волевые люди, до нелепости банален – это, может быть, главное, что надо о нём знать. На факультете он также развил бурную деятельность – организовал газету с глупейшим названием «Студенческая магистраль», в которой собрал чуть ли ни три десятка авторов, устраивал какие-то конкурсы, розыгрыши, акции. Его затеи регулярно проваливались – одни ввиду наивности, другие – из-за недостатка средств, третьи просто сходили на нет вместе с энтузиазмом организатора, которому не терпелось приняться за что-то ещё. Этим он напоминал моего наставника по журналистской школе Базелева с той лишь поправкой, что в отличие от последнего, Алексей искренне презирал деньги. Во всех его делах так или иначе участвовал и я. Вообще, со мной, особенно в первое время, он возился, как с маленьким, вероятно, опасаясь, что я повторю свой фокус с медным Ломоносовым. В этом, впрочем, не было никакой необходимости – после нашего разговора во мне словно что-то перещёлкнуло. Не знаю, было ли дело в стыде или в том, что мне действительно надо было выговориться, только с этого момента чудить я перестал, и даже с некой внезапной безгловостью начал смотреть на прошлые выходки.

Сначала я был кем-то вроде ответственного секретаря в «Студенческой магистрали» – отбирал материалы для номера и следил за выходом его в срок. Параллельно с этим Алексей затащил меня в один благотворительный фонд, и мы на улице собирали пожертвования то ли в пользу брошенных домашних животных, то ли на каких-то инвалидов. Ещё мы вместе стажировались в «Известиях», где мой приятель замучил половину редакции своими прожектатами, один из которых предполагал, между прочим, что газета возьмёт шефство надо всеми детскими домами России одновременно. Я, конечно, был не единственным его другом, вокруг Лёши постоянно ошивалось человек двадцать. Он в самом деле умел как-то увлечь за собой, хотя после зачастую не знал, что делать с им же поднятой волной энтузиазма. В этой черте было столько русского, то есть безрассудного и залихватского, что Аполлон Григорьев и Данилевский, глядя на Алексея, могли бы обняться и плакать, роняя тяжёлые слёзы умиления.

Но, наверное, изо всех его знакомых я один относился к нему скептически. Вообще, я был в те годы страшным скептиком, что, впрочем, объясняется легко: скептицизм – первое и главное, чему учит нищета. Все его проекты казались мне наивными, что же до, собственно, журналистских способностей, то надо признать прямо – журналист из него получился посредственный. Он совершенно не старался быть объективным, и даже, пожалуй, презирал это необходимое свойство нашей профессии. В его палитре присутствовали только чёрная и белая краски, которыми он, ничтоже сумняше, густо мазал направо и налево. Какой-нибудь преподаватель, из педантичности или от дурного настроения валивший на зачёте студентов, получался у него сущим дьяволом, живущим исключительно для того, чтобы рушить невинные юношеские судьбы, экзаменуемые же, напротив, все как один являли образцы кристальной чистоты и добродетели. Профессор, про которого ходили слухи, что тот берёт взятки, изображался неким Гобсеком, получающим садистское удовольствие от шантажа студентов. Бюрократы из учебной части стремились по его убеждению, книжный ларёк, столовая. Всё это добавляло известности, хотя действительно бесило чиновников. Ещё Коробов клеймил бюро-

кратов из учебной части, предрекая всему университету гибель из-за их вечных проволочек с документами, библиотеку за отсутствие нужных книг, которые требовалось докупать в ларьке факультета (ясно, что и тут был заговор), столовую за высокие цены, и так далее. Всё это, конечно, появлялось только в нашей с ним «Магистрали», в серьёзных изданиях, где моему приятелю случалось стажироваться, подобный продукт неизменно браковался. Надо, впрочем, отдать ему должное – он оказался достаточно умён, чтобы и здесь не отыскивать чью-нибудь злую волю.

Однако, усердие превозмогает всё, как гласит древний лозунг наших предков, и со временем Коробов начал становиться вполне сносным писакой. В его материалах появились и смысл, и направление, и серьёзные аргументы, основанные не только на эмоциях. Правда, шло его развитие как-то вкривь и вкось, но тут надо винить природу, которая порой искренне располагает нас к тому, к чему мы имеем меньше всего таланта. Я после часто говорил Алексею, что гораздо больше ему подошла бы роль политика или пиарщика, но он только отмахивался – дескать, не моё это всё. У Андерсена есть сказка под названием «Старый фонарь», в которой говорится о светильнике, способном переносить человека в потусторонние миры, показывать невероятной красоты картины, если только он зажжёт в нём огонь. Но хозяева каморки, в которой стоял этот необыкновенный прибор, были бедны и, не имея лишнего огарка свечи, так и не узнали об его волшебных свойствах. Удивительно, до чего же часто подобное происходит и с людьми...

Наши с Алексеем отношения нельзя было назвать идеальными. Несмотря на то, что, как я упомянул, общались мы много, особенно в самое первое время, лидером или наставником я его не признавал. Почти всё время мы спорили. По убеждениям он был кем-то вроде либерала, из того направления либерализма, которое порождает правозащитников и борцов за экологию. Думаю, в случае Алексея либерализм был просто удобной формой, подошедшей под его гуманистические убеждения. В прежние годы из таких людей получались первые христиане, аболиционисты и социальные гуманисты. Про себя я всегда понимал это, но при каждом удобном случае стыдил Алексея его убеждениями, напоминая о других либералах – социальных дарвинистах, либертарианцах и сторонниках имущественных цензов. Для меня это стало чем-то, вроде забавы. Только он заводил разговор о необходимости люстрации вороватых чиновников, как я напоминал ему о Чубайсе и Грефе, заговаривал о правах человека – и я язвительно вставлял какую-нибудь людоедскую цитату Латыниной или Новодворской. В тёмном болотце русского либерализма можно поймать любую жабу, однако, я отнюдь не стремился притом добиться истины, мне лишь хотелось уколоть моего приятеля. Как огни современного города раздражали бы дикаря, вышедшего из тёмной пещеры, так и меня, пережившего нужду и смерть матери, выбешивали его жизнелюбие и искрящаяся энергия. Мне всё казалось, что он занимается чем-то не тем и не так. Он и в самом деле с энтузиазмом кидался на всё, что встречалось ему на пути. А что могло встретиться в нашей, даже и по сей день, сытенькой, пустынькой университетской среде? Всё у нас было чужое – кумиры, язык, время. Активистов, вроде Алексея, среди студентов хватало, что неудивительно – юность есть юность. Но реальные беды нашего многострадального Отечества их не занимали. Даже протест у них был подражанием протесту западному – надо же было так выхолостить себя! Протестовали всё против чего-то, вычитанного в американских журналах и высмотренного на американском телевидении, причём зачастую даже не утруждая себя переносом воспринятого на местную почву. Выходило очень смешно. К примеру, однажды у нас на факультете прошёл целый митинг против загрязнения реки в каком-то затрапезном городке в Коннектикуте (об этом загрязнении возмущённо писали в *New Muscial Express*). По итогам его собравшиеся приняли огромную резолюцию на двенадцати листах, а затем всей гурьбой, отволокли её в американское посольство, к огромному удивлению тамошних служащих. Вообще, надо заметить, что американцы частенько удивляются тому, как перед ними подпрыгивают наши прогрессисты и адепты запад-

ных ценностей. Вероятно, ценностям этим они придают куда меньше значения, чем наши доморощенные общечеловеки, что должно бы, кажется, наводить последних на некоторые размышления. Ещё мне запомнилась акция (кажется, выплеснувшаяся из того же NME) в поддержку некоего американского музыканта, из-за болезни потерявшего голос. Её участники из солидарности со своим кумиром обязаны были молчать несколько недель подряд. В подобных клоунадах Алексей не участвовал, однако и на его долю пришлось немало глупостей. Он воевал против вырубки тропических лесов, использования в супермаркетах полиэтиленовых пакетов, против какой-то европейской химической компании, не очень бережно обращавшейся с производственными отходами, и прочих первостепенных российских бед. Разговоры наши почти всегда шли по одному шаблону.

– Я сегодня убегаю на акцию, ты со мной? – обыкновенно вопрошал Алексей, когда мы в университетской библиотеке оканчивали возиться с очередным номером нашей «Магистрала».

– Что за акция? – интересовался я.

– Ты слышал о движении «Free hugs»?

– Не слышал.

– Ну, короче, мы надеваем бэйджики с надписью: «Бесплатные объятия», идём по городу, и обнимаемся со всеми, кто захочет, – с энтузиазмом вещал Алексей. – А, заодно, напоминаем людям о разных актуальных проблемах. Здорово, да?

– И какие же это актуальные проблемы? – язвительно улыбался я.

– Ну, сегодня будем говорить о выручке парка в Раменском. Представляешь, там уничтожают древний столетний дуб! Дерево ещё можно вылечить, но чиновникам жалко на это денег, и они решили от него просто избавиться.

– Нет, не пойду, – отказывался я.

– Ну как же не пойдёшь? Сам подумай, тут и экология, и традиции – это дерево сто лет простояло, его все местные с детства помнят. Неужели тебе не интересно?

– Не интересно.

– Почему же? – возмущался Алексей, резко плюхаясь на стул рядом со мной.

– Да потому, что вся эта твоя экология – модный тренд, только и всего. Пустая затея.

– Почему же обязательно пустая? – кипятился Алексей. – Тебе что, не важен воздух, которым мы дышим? Не важно будущее страны?

– Потому, что всё это вы, либералы, с запада переняли под копирку, – ехидствовал я. – Там бегают «зелёные», и у нас, значит, надо, там есть организации, следящие за чистотой воды, и у нас это повторяют, причём совершенно бездумно, как попугаи. Несерьёзно это всё.

– Так что же, нужно забыть о важных вещах только потому, что ими и на Западе занимаются?

– Да какие это важные вещи... – спокойно говорил я (как я наслаждался тогда этим спокойствием!) – Ты меня прости, но, когда дом горит, надо пожар тушить, а не нужники в нём ремонтировать. У нас вон двадцать миллионов нищих, у нас старики в двадцать первом веке дровами печи топят, в деревнях в двухстах километрах от Москвы – каменный век – ни канализации, ни медицины, ни электричества. А ты тут пристаёшь со своим чёртовым дубом. И не один ты. Вся ваша экология, ещё эти... как их там... «городские проекты» – не более чем глупые игры сытеньких детишек. Для вас всех эта борьба – такой же модный аксессуар, как для Надьки Березовской из нашей группы – томик Маркеса, с которым она в кафе ходит. Сядет с томным видом у окошка, и когда замечает, что на неё кавалер смотрит, головку набок склоняет и изображает задумчивость. А спроси её о чём там в этих «Трёх товарищах», так она на тебя как на привидение вылупится... Какой вообще толк ото всей вашей движухи? Фоточек наделаете для блогов, только и всего.

– Поверь, я и деревнями займусь! – бушевал Алексей. – Но не бросать же серьёзное дело, то, что у тебя прямо сейчас под носом происходит, ради чего-то далёкого и эфемерного?

– Да, иди ты на свою акцию, спасай дерево, – махал я рукой. – А что до людей, то как там ваш Чубайс говорил? «Русские бабы ещё нарожают»?

Не находя ответа, Алексей убежал, хлопнув дверью. Забавно, кстати, то, что на следующий день после подобных эскапад он всегда являлся ко мне объясняться. Лепетал какой-то официоз об успехе вчерашней акции и важности экологических проблем, притом виновато глядя в сторону и вообще имея вид бледный. По всей видимости, он и сам сомневался во всей этой весёленькой деятельности, и это сомнение успело изрядно измучить его. Во всяком случае, ему ни разу не пришёл в голову очевидный вопрос ко мне: «Хорошо, тебе не нравятся наша работа, ну а сам-то ты, любезный, что делаешь?» Я не нашёлся бы, что ответить на это. Мало того, что я действительно сидел сложа руки все пять университетских лет, но я бездельничал в самом пошлом и нелепом стиле, а именно – цинично и с направлением. Об этом хотелось бы отдельно сказать несколько недобрых, но, на мой взгляд, любопытных словечек. Собственно, откуда у меня в двадцать лет взялся цинизм, думаю, объяснять не надо. Нищета, смерть матери, оглушившая как обухом, одиночество и отсутствие авторитетов – всё это, понятно, ни к чему другому привести не могло. Но интересно то, что цинизм никак не повлиял на моё мировоззрение, то есть в смысле общем и системообразующем. На это я всегда смотрел как на камешек в огороде современных наших чахленьких представлений об общественной морали, и, может быть, не без оснований. Я не стал ни трусливым подонком, ни оголтелым приобретателем, ни равнодушным забитым хлюпиком (последнего, кстати, всю жизнь боялся с трепетом). Цинизм обрелся во мне как-то сам по себе, вроде какого-нибудь вируса гриппа, и расцветал (как и грипп) лишь в моменты крайнего душевного напряжения, окрашивая действительность в самые неожиданные и выразительные цвета. За что я, кстати, почти благодарен ему. И какой это был цинизм! Извините, если заговорю ярко, литературно, и, может быть, в ущерб повествованию – увлекаюсь от восторга! Вообще, если рассуждать о самом явлении, то цинизм, в прежние века питавшийся лишь болезнями, банкротствами да любовными неудачами, прозябавший на задворках человеческой природы и только изредка являвшийся на публике в образах разных там гарпагонов да печориных, именно сегодня развился до события огромного и повсеместного, став буквально характеристикой времени. И вместе с тем, как ни парадоксально, настоящих циников нынче мало. Разве назовёшь циником какого-нибудь вчерашнего школьника, маменькино сокровище, что начитается Айн Рэнд и бежит совершать подвиги эгоизма, почти всегда ограничиваясь мелкими подлянками? Или любителя рэп-баттлов, таскающего джинсы не по размеру и уверенного в том, что его воспитала улица, хотя всё воспитание ограничилось хлестанием «Яги» в обделанном подъезде да отжатым под мухой мобильником? Или менеджера средней руки, этого рыцаря экселя и косынки, что всю неделю трескает доширак в своём потном закутке, а в пятницу идёт в бар клеить поддатых баб с открытым кукбуком на смартфоне и флакончиком миррамина в кармане? Или государственного дармоеда, хранящего в ящике рабочего стола грамоту о присвоении наследного дворянства, а в обезличенной банковской ячейке – пачку акций американских компаний на предъявителя? Нет, друзья, всё это не цинизм, а лишь явный или скрытый, понимаемый или неосознанный социальный дарвинизм. А дарвинизм, по сути своей, не то что не цинизм – он даже не зло. Как все человеконавистнические теории, он создан исключительно и полностью для комфорта, это его основная функция. Не верите? Докажу. Взять для наглядности хоть такое милое ответвление дарвинизма как нацизм. Удобнейшая же штука – родился с нужным цветом кожи и разрезом глаз – и вот тебе и ощущение превосходства, и друзья, и враги. Но главное – идея! За идею иной горы перевернёт, пешком по морю пройдёт, вызубрит энциклопедии – да не отыщет ничего. Тут же всё тебе даётся на старте, в готовом и разжёванном виде, а это, поверьте, дорогого стоит. Дарвинизм из той же оперы, но здесь ситуация несколько заковыристее, с парочкой весьма любопыт-

ных психологических вывертов. В дарвинизме ты со старта, если не повезло, конечно, родиться с серебряной ложечкой во рту, мышонок слабенький, преследуемый, и, казалось бы, должен всю замечательную конструкцию презирать. Но в жизни почти всегда наоборот. Мышата современные, к удивлению кантов и робеспьеров, эту систему координат принимают с радостью. Даже наличие в ней котов, перед которыми они беспомощны, ничуть их не расстраивает. Находятся и такие мышки, которые искренне котом гордятся, причём тем более гордятся, чем страшнее он душегуб. И не только гордятся – порой, отринули бы всю систему, не будь в ней кота, способного их в секунду раздавить. И не только они находятся, но составляют, пожалуй, преимущественную массу. Есть, знаете ли, в бессилии, не в окончательном бессилии, а в таком, где у тебя остаётся ступенька над пропастью, маленькая норочка, в которой можно укрыться от жестокого мира, нечто безумно соблазнительное. В этом соблазне, я глубоко убеждён, втайне состоит главная привлекательность дарвинизма для любого, самого преданного и отчаянного его апологета, даже из тех, что выгадали себе местечко полакомее в пищевой цепочке. А если так, то где тут место цинизму, посудите сами? Цинику тесно будет в этой норке, ему требуется простор, нужен весь мир, дабы презирать его изо всех могучих своих сил. Ему не комфорт нужен, а страдание, как бы он не скрывал этого ото всех, и в первую очередь от самого себя. Впрочем, это я разболтался, хоть и не без задней мысли – да чтоб те же путевые вехи расставить. Что же до меня, то я, повторюсь, был не фальшивым и надутым, а натуральным, ветхозаветным циником. Циником, какими они задуманы природой, циником обиженным, циником от страдания. Притом, хочу отметить такую особенность (может быть, лично мою): в цинизме, как это ни странно, мне нравилась отнюдь не моральная свобода, напротив, в первую очередь привлекало одно его свойство, признаваемое лишь неким шестым чувством, краешком сознания – и то лишь в моменты крайнего обострения интуиции – способность отвергнуть безразличие и в один момент развернуться к самому искреннему и пламенному гуманизму. Эта черта, свойственная лишь натуральному, выстрадавшему цинизму, известна даже из истории. Присмотритесь повнимательнее к Наполеону, Гоббсу, к нашему Ивану Грозному – и вы убедитесь в моей правоте.

Радовало в цинизме и то, что он, в отличие от множества похвальных и прекрасных чувств, не был статичен, а развивался, искал себе почву. Не знаю, что бы вышло из этого, если бы я не был на ту пору одинок и задумчив. Может быть, остался бы одним из тех миллионов неоконченных людей, что здесь бросили на полпути идею, тут не сделали важного вывода, там не додумали принципиальную мысль, и которые так и доживают убогими обрубками, ни к чему не способными интеллектуальными инвалидами, тащась до любого решения на костылях чужих идей и не ими сочинённых теорий. У меня получилось иначе, я достроил себя. Но какие горы мусора пришлось перелопатить! Счастливые воспоминания, влюблённости – преимущественно пустые, сомнения, угрызания совести – всё было аккуратно разобрано, очищено от пыли и расставлено по полочкам. Главной же находкой, определившей направление, оказалась старая моя, ещё детская, обида на мир. Сначала я почти не придавал ей значения, но, едва потянув за кончик, чтобы вытащить из-под груды хлама, понял, что, наконец, наткнулся на что-то серьёзное. От одного прикосновения задрожало всё здание, посыпалась штукатурка и замигал свет. Корни обиды обнаружились везде – сквозь прошлое и настоящее они прорастали в будущее, заполняли собой всё, затмевали солнце, наполняли воздух пряным и едким своим ароматом. С невероятной радостью (подобную же испытывают некоторые странные люди, отрастив у себя какую-нибудь невероятных размеров мозоль), я бережно ощупывал свою находку: и уход отца, и нищета, и оскорбления на станции и, наконец, главное – смерть матери – всё было на месте, всё отзывалось привычной ноющей болью. Из нового, правда, ещё ничего не было, но тут я надеялся подкоптить. Были, конечно, и кое-какие изменения. К примеру, я, уже успев пожить немного на свете, не мог и теперь, как пять лет назад, наивно считать болезнь матери какой-то небывальщиной, чем-то исключительным и предназначенным неве-

домым роком персонально мне в наказание. Но на первоначальном чувстве, как на компосте, за это время выросла уже целая идеология. И она оказалась удивительно гармонична – вот что значит свободное цветение! Я не поменял в ней почти ничего, лишь подрубил кое-какие кустики, окопал корни, да подрезал здесь и там веточки. Разрешились многие противоречия, были додуманы мысли, прежде ставившие в тупик.

Впрочем, вывод, сделанный из всего, оказался предельно банален. Дескать, раз уж не повезло мне в жизни, то убирайтесь-ка вы все, люди, к чёртовой матери. Я буду жить для себя, смотреть на вас презрительно и никогда ни перед чем не остановлюсь. С тоской резюмирую, что всё это в итоге сделало меня попросту озлобленным и скучным. Однако, поначалу обещало немало интересного.

Глава пятнадцатая

После университета наши с Алексеем пути на несколько лет разошлись. Я устроился корреспондентом в одну солидную ведомственную газету, он же пустился во все тяжкие – то работал пресс-секретарём некой полукриминальной и полуправовой партии, то координировал движение против точечных застроек, то защищал мигрантов в обществе каких-то посыпанных нафталином борцов за права человека. Всё это, конечно, без какого-либо успеха, и даже без особых на него претензий. Помыкавшись по подобного рода конторкам, он на некоторое время осел в «Лучшем завтра» – правозащитном фонде средней руки.

– Ты знаешь, дела-то в целом идут хорошо. Вот, к примеру, в Марьино на рынке скоро инспекция будет по нашей наводке – проверят, в каких условиях рабочие живут, – объяснял он мне однажды, когда мы сидели в стеклянных интерьерах «Старбакса» на Тверской, и над нами, словно призраки, медленно плавали тёплые ванильные облачка. – Ещё Сургутова из «Архнадзора» удалось с зоны вытащить. Но всё-таки, понимаешь, хочется чего-то... – он пошевелил пальцами.

– Серьёзного? – лукаво улыбнулся я, помешивая кофе.

– Нет, ну мы итак серьёзными делами занимаемся, – обиделся Алексей. – Один рынок чего стоит – семьдесят человек из дерьма выдернем. Или вот наш проект помощи бездомным на «трёх вокзалах», слышал, наверное, о нём? В «Аргументах» на прошлой неделе целый разворот о нём.

Я не ответил. С минуту Алексей молчал, глядя в окно.

– Но вообще-то да, можно и так сказать, – наконец, хмуро произнёс он. – Не хватает пока масштаба, что ли... Признаться, надоели мне все эти кролики-чинуши, крючкотворство по судам, жалобы, отписки, претензии... Не то это.

– Чего же ты хочешь? – спросил я.

– Дракон мне нужен, – с тоской выговорил Алексей.

– Какой ещё дракон?

– Настоящий. Огнедышащий. Чтоб искры сверкали, вихрь от крыльев летел, и пламя землю плавил. Мне драка нужна, понимаешь? Серьёзная, большая драка.

Слушая это, я только снисходительно улыбался. Мне казалось, что пройдёт ещё несколько месяцев, и проза жизни вылечит его от этого детского энтузиазма. Но предчувствие обмануло меня. Вместо того, чтобы разочароваться в работе, он погрузился в неё с головой. Со временем он начал даже приобретать некоторую известность. Дракон ему покамест не попался, однако победы определённо были. За два года он отметился в известном процессе подмосковных прокуроров, провёл громкое расследование о чиновничьих дачах в Валентиновке, из-за которого два депутата Мособлдумы лишились мандатов, и обнародовал материалы о коррупции в сфере социального строительства. Работал он на износ, в буквальном смысле не щадя себя ради дела. Например, однажды ему пришлось защищать права участников дачного кооператива в небольшом подмосковном городке. Местные власти решили снести старые домишки на окраине – у мэра на землю были свои планы. Однако, в суде жители каждый раз одолевали администрацию. Тогда мэр решил схитрить. Публично пообещав дачникам отложить снос, он тем же вечером подвёл к спорной территории бульдозеры. Жители выстроились перед своими участками живой цепью. Назревал скандал. Не было никакого сомнения в том, что рано или поздно бунт будет подавлен, причём безо всяких последствий для чиновников – местной прессе ситуацию освещать запретили, а федеральных журналистов конфликт в крошечном городке в сотне километров от Москвы не интересовал. Однако, в разгар противостояния к мэру, приехавшему лично наблюдать за сносом, прорвался Алексей.

– Вы же говорили, что посёлок без решения суда сносить не будете! – крикнул он сановнику, стоящему в кольце охраны.

– Без комментариев, – отмахнулся тот.

Тогда Алексей с размаху бросил ему в лицо цветастую женскую юбку.

– На! Тебе пойдёт! Мужик сказал – мужик сделал. А ты – баба!

Разъярённый мэр отдал приказ своим гаврикам, Лёшу повалили на землю и от души отдубасили. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга и перелом ребра, но ролик с происшествием тем же вечером попал в интернет и за неделю собрал три миллиона просмотров. В дело, наконец, вмешались крупные СМИ и московские правоохранители, и снос был отменён. Алексей не остановился и тут, и довёл бы дело даже до увольнения мэра, если бы не вмешались высокие покровители, сделавшие дальнейшую борьбу невозможной. Вообще, Коробов всегда и во всём шёл до конца, и эта черта ужасно нравилась мне в нём. До той поры, пока я не испытал его решительность на себе.

Глава шестнадцатая

Первое время моя жизнь шла как бы между делом, словно в ожидании чего-то. От скуки я стал шататься по разным светским мероприятиям, приглашения на которые приходили в нашу редакцию, и постепенно привык к презентациям, банкетам и клубам. Всё мне там нравилось – и вежливость, и ласковые либеральные беседы о судьбах Родины за чашкой макиато с коньяком, и подарки от спонсоров, и лобстер под сливочным соусом. Пожалуй, нравилось даже слишком, до того, что стало уже входить в привычку. Дорожка эта хорошо известна, по ней в последние двадцать лет пробежала каждая рафинированная дрянь, пробивавшаяся у нас из грязи в князи. Я всё понимал, и у себя видел кой-какие признаки, но не противился – лень было, да и к грязи легко привыкаешь. Свою ноту вставляла и та же взлелеянная обида: «Дескать, вот куда ты толкаешь меня, проклятая судьба? Ну так получай же – испохаблюсь тебе на зло!» Понятно, что звучит натянуто, но в юности таких тонкостей ещё не замечаешь, зато за яркие фразы цепляешься с восторгом. Возможно, лет через десять-пятнадцать я, всё так же продолжая обижаться, обзавёлся бы кабинетом с видом на набережную Шевченко, служебным «Мерседесом» и уютной квартиркой на Большой Бронной, тем более что к этой квинт-эссенции человеческого счастья шёл семимильными шагами. У меня уже появились некоторые знакомства: кое-кому я оказывал по информационной части довольно специфические услуги, а кое-кто успел задолжать услугу и мне. В своей газете я был на прекрасном счету. Наш редактор, Алексей Анатольевич Филиппов, оказался милейшей души человеком. В крупных ведомствах, таких, как наше, редакторскую должность зачастую навязывают какому-нибудь крупному чиновнику, который совмещает руководство газетой со своей основной работой. В этом случае редакторство его чисто номинально, а изданием распоряжается какой-нибудь из формальных заместителей. Так было и у нас – Алексей Анатольевич долгое время тихо-мирно руководил своим департаментом, совершенно не интересуясь газетной жизнью. Но однажды он, ко всеобщему ужасу журналистов, обнаружил в тайных кладовых неглубокой души своей вкус к печатному слову, причём, в довольно оригинальной форме. При нём газета, прежде рассказывавшая о выплавке металлов и трудовых нормах на производстве, постепенно превратилась в жёлтый листок, состоящий из интервью с местными руководителями разного калибра, светских обзоров и очерков из жизни министерских элитариев. Кроме того, в редакции обосновалась жена Филиппова – крикливая, дебелая и тупая сорокалетняя баба. Она целыми днями таскалась по кабинетам и раздавала сотрудникам бестолковые и противоречивые указания. Притом возражений не терпела, поднимая в ответ такой визг, что во всём здании дрожали стёкла.

Несложно догадаться, какое впечатление произвели эти перемены на редакционную общественность. В газете зрела фронда – журналисты одну за другой царапали коллективные жалобы, составляли претензии, обращались со слёзными мольбами к знакомым чиновникам. Всё было бесполезно – положение Филиппова и его связи, как намекали и деловые, в высших кругах нашего ведомства делали его неуязвимым. С другой стороны, и Алексей Анатольевич не был рад создавшемуся положению. Разогнать редакционных старожилов он не имел никакой возможности – поднялся бы уже настоящий скандал, а скандалов, как и вообще шума, он не любил. Но и бросить издание после стольких усилий не желал. Он сделал ставку на немногочисленную газетную молодёжь, и почти все поручения редколлегии отдавал через меня и ответственного секретаря редакции Чеповского. Впрочем, Чеповский – пухленький и глупенький тридцатилетний ребёнок, быстро вышел из доверия, и в делах шеф начал полагаться на одного меня. Роль агента влияния показалась мне довольно забавной. Я шпионил и интриговал изо всех сил. Филиппову докладывал о планах и заговорах газетчиков, редакционным же мафусалам излагал тайные намерения начальства, причём и там и там врал с три короба. Иногда я

нёс такую околесицу, что, ей Богу, и сейчас не понимаю, как мне верили. Списываю всё разве что на ослепляющее действие страха. С Алексеем Анатольевичем оказалось особенно весело. В общении с ним я выбрал роль эдакого опереточного миньона: и льстил, и унижался напропалую. Делал комплименты его качествам руководителя, расхваливал причёску и костюмы (он, кстати сказать, был плюгавенького вида мужичонка, и любая одежда висела на нём, как тряпье на пугале), даже его жену находил очень красивой женщиной – и всё это совершенно серьёзно, с каменным лицом. Не знаю, то ли у чиновников приняты подобные изъявления преданности, то ли Филиппов был совсем недалёк, но мои слова он, по всей видимости, принимал за чистую монету. А я рад был стараться, тем более, что льстить ему мне очень понравилось. Вообще, лесть – довольно интересная штука, способная доставить немало удовольствия понимающему человеку. Есть, знаете ли, что-то утончённое в отторжении здравого смысла, логики, и принуждении себя к вере в совершенно зачастую нелепое и противоестественное. Замечу – именно к вере, настоящей и абсолютно искренней, пусть даже и длится она всего те несколько мгновений, что произносятся слова. А сколько ещё наслаждения в самоуничтожении! Много тут всего – и вызов природе с её дурацким инстинктом самосохранения, и настоящий, древний жертвенный пыл, и восторг растворения в личности восхваляемого, который тем пикантнее, чем она отвратительнее. В лесть порой чувствуется что-то глубокое, хтоническое, приближающее вас к коллективному бессознательному и вместе с тем вызывающее чувство наподобие религиозного экстаза. Притом всё это удовольствие не требует ни особого развития, ни какого бы то ни было образования, а, как дар Прометея, доступно абсолютно каждому. Словом, игра очень даже стоит свеч.

Мои усилия быстро дали результаты. Из простого корреспондента я всего за год стал спецкором, а затем получил и должность редактора новостного отдела. Филиппов всё больше доверял мне. Со временем я вошёл и в курс кой-каких его личных делишек. Жизнь он вёл прям-таки образцово чиновничью – имел несколько содержанок, офшорный счёт и обвитый плющом домик на окраине Парижа, где очень наивно надеялся когда-нибудь окончить свои дни. Серьёзных заданий мне, конечно, первое время не давали. Я заказывал авиабилеты для его женщин, снимал номера, покупал одежду и украшения, доставал разные интимные вещички – в общем, делал то, чего не поручишь секретарю. Этот лакейский труд щедро оплачивался – Филиппов с барского плеча отстёгивал мне то сто, то двести тысяч рублей, и ещё столько же я выгадывал за счёт промо-акций, бонусных карт и знакомств в Третьяковском проезде. Вскоре я узнал об одной забавной странности милого моего патрона, впоследствии сыгравшей важнейшую роль в этой истории. Несмотря на свою невзрачную внешность и физическую немощь, в личной жизни Филиппов был настоящим тираном. Ровный и спокойный на работе, со своим ближним кругом он распускался до такой степени, что по сравнению с ним любой рыночный торгаш или таксист показался бы образцом хорошего тона из парижской палаты мер и весов. Он ругался как сапожник, орал, плевался и при малейшем поводе пускал в ход хлипкие свои ручки. Доставалось и вашему покорному слуге, причём мне большого труда стоило порой не выйти из восхитительной роли мизерабля, и не дать сдачи. Однако, из правила имелось исключение – свою жену он за всю жизнь не тронул и пальцем. Правда, на то существовала отдельная причина. Она была дочерью крупного чиновника, за счёт которого он, собственно, и сделал карьеру. Говорят, тесть его отличался нравом ещё более дрянным, нежели наш любезный Алексей Анатольевич, с зятем обращался как со скотиной, причём, ничуть не смущаясь даже подчинённых. Забавный факт – Филиппов, как оказалось, был вовсе не Филипповым, а каким-то Задонским или Забродским – тесть вынудил его взять фамилию супруги. Жена его многое переняла у отца – о страшных скандалах, которые она закатывала мужу, ходили легенды. Не имея возможности ответить дражайшей супруге, обиды он вымещал на подручных, вроде меня, и своих женщинах. Одним словом, всё в этом милом семействе дышало экспрессией, как зима выюгой. До сих пор завидую – надо же было так уютно устроиться в жизни!

Глава семнадцатая

Женщин Филиппов менял как перчатки, причём, к выбору их подходил с большой оригинальностью. Опасаясь огласки своих амурных походов, подруг искал не в собственном кругу, а, беря пример с шаловливых английских аристократов восемнадцатого века, обращался к общественным низам. В специально купленной квартире в «Алых парусах» он селил разнообразных уборщиц, официанток из дешёвых забегаловок, продавщиц с рынка, а пару раз приводил даже каких-то мигранток из Средней Азии. Вкус у него был превосходный – цеплял он сплошь красавиц, как с картинки. Но, несмотря на то, что Филиппов окружал девушек роскошью и заваливал дорогими подарками, редкая выдерживала с ним больше пары месяцев. Он избивал их до полусмерти, доводил до истерик, придумывал какие-то жуткие извращения... Забота о бедолагах, пострадавших от оригинальности его характера, постепенно стала моей основной задачей. Я утешал их, покупал подарки, договаривался при необходимости с неболтливыми докторами... Как-то мне пришла в голову мысль о том, чтобы собрать на милого патрона своеобразный компромат и после выцыганить из него миллиончиков двадцать. Выдумал я это не из какой-то там алчности, а, так сказать, от беспокойного сердца. Очень мне хотелось уколоть Филиппова, а эту сумму я как раз полагал для него существенной. Бешенство на него собиралась во мне по крупице. Знаете, вся эта сволочь, я имею ввиду элитариев вообще, ужасно полагается на деньги, считая их силой великой и в своём роде всепрощающей. За эту идейку они держатся крепко, как за нечто сакральное, а между тем, она в корне ошибочна. Уверяю вас, что любой, совершенно любой человек, будь то даже самый подлый и алчный ублюдок, бесплатно сделает в тысячу раз больше, чем за деньги. Правда, тут торг пойдёт уже эмоциональный, а с эмоциями в ихних эмпиреях потяжелее, чем с золотишком, что испокон веков и отражается на бренном нашем мире. Так и Филиппов – на наличность он не скупился, но притом обращался со мной, как с безмысленным бревном. Мол, я тут напакостил, а ты, Ванька, помой за мной, прибери, да помалкивай, вошь ты серая. Даже сообщал мне об очередном приключении тем же сухим деловым тоном, каким на работе отдавал распоряжения. И ни капли раскаяния, ни крупицы благодарности, за которые я, клянусь, кой в какие моменты всё простил бы ему! В подобном отношении было нечто от Клеопатры, что раздевалась перед рабом, не считая того за мужчину, и оно ужасно бесило меня – и чем дальше, тем больше. Обмен души на дензнаки вообще процесс довольно болезненный, особенно если душонка не успела ещё задохнуться в каком-нибудь потребительском или честолюбивом мороке, а куда живёт и трепещет. Вознаграждение, получаемое от Филиппова, совершенно не компенсировало унижений, даже больше скажу, в последние месяцы я вовсе не считал вручаемых мне сумм, безразлично швыряя нераскрытые конверты в ящик стола. Одним словом, на сцену выбралась моя старая подруга – обида, а вместе с ней мелькнуло и данное самому себе обещание «никогда ни перед чем не останавливаться». Итог вышел забавный и с привкусом некоего сюрреализма, впрочем, пошленького, – едва научившись презирать деньги, я первым же делом на деньги и бросился.

Прежде чем закрутить интригу, я основательно прощупал почву. Первой мыслью был шантаж Филиппова разглашением супружеской неверности. Но его жена, как я вскоре выяснил, оказалась дамой мудрой и понимающей, о романах мужа была прекрасно осведомлена и смотрела на них сквозь пальцы. Начальства он также не боялся – во-первых, существовали деловые связи, за которые, как известно, всё прощается, а во-вторых, на нашем Олимпе и не было строгих моралистов. По-настоящему Филиппову мог повредить лишь серьёзный публичный скандал, и вот его-то он действительно изо всех сил стремился избежать, тщательно маскируя свои похождения. План мой был прост и непрехотлив. Я решил стовориться с одной из его жертв, и убедить подать заявление в полицию. Затем, оказавшись посредником между

ним и девушкой, разгулялся бы сполна, и вытряс из нашего доморощенного Калигулы максимум возможного. В успехе дела сомнений не было. Во-первых, зная характер Филиппова, я понимал, что тот не станет решать вопрос с потерпевшей напрямую, а во-вторых справедливо полагал, что он прибегнет именно к моему посредничеству – вряд ли в подобных обстоятельствах ему захочется широко распространяться. Однако, воплотить этот план в жизнь оказалось сложновато. На первых же порах я столкнулся с десятком непредвиденных трудностей. Главное же, как я ни старался, жертвы и слышать не хотели ни о каких юридических разборках – одних Филиппов напугал до смерти, другие ещё надеялись на добровольную подачку от него, третьи просто желали забыть о нём, как о страшном сне. Однако, надежды я не оставлял и ждал подходящего случая.

Однажды Филиппов вызвал меня в «Алые паруса» в полвторого ночи.

– Чтоб через двадцать минут был, – крикнул он в трубку, причём в его голосе, к моему удивлению, отчётливо различился страх. Я понял, что случилось нечто, выходящее из ряда. Дверь в квартире была открыта, и я беспрепятственно прошёл внутрь. Филиппова ждал меня в зале. Он был полностью одет и сидел в кожаном кресле у журнального столика, сложив руки на груди и опустив голову. Когда я окликнул его, он поднял голову и посмотрел на меня затравленным щенячьим взглядом. Лицо было бледно, глаза странно блестели.

– Что случилось? – спросил я.

Не ответив, он быстро поднялся с места и резким пружинистым шагом вышел из комнаты. Я поплёлся следом, предчувствуя недоброе. В огромной спальне была приоткрыта дверь, и через щель цедились слабенький жёлтый свет. На полу, посреди серо-голубого дизайнерского ковра, усеянного яркими пятнами крови, лежала совершенно голая женщина. Я сначала даже не различил её лица – оно совершенно распухло и являло собой бесформенную фиолетовую маску. Синяки были и по всему телу. Одной рукой, неестественно изогнутой, словно насильно вывернутой, она держалась за ножку кровати, а другой прикрывала грудь.

– Вот... – сухо промямлил Филиппов. – Посмотри, что можно придумать. Может, врача вызвать, или там ещё что...

Я шагнул к девушке и тронул её за руку. К моему великому удивлению, бедняга была жива и даже в сознании – в ответ на моё прикосновение она слабо застонала. Я попробовал поднять её, но не смог – любое движение, видимо, причиняло ей резкую боль, и она начинала громко стонать.

Мы с Филипповым вышли в коридор, где у нас состоялся продолжительный разговор. Он явно был растерян – юлил, петлял, скакал с одного на другое. Больше всего он боялся ответственности – очевидно было, что без медицины на этот раз обойтись не получится, но вызвать скорую в нашей ситуации означало фактически сдаться милиции – кто-нибудь из врачей непременно набрал бы ноль два. А там хлопоты, деньги, и самое страшное – огласка... Глядя на то, как он суетится и подпрыгивает, я напряжённо размышлял. Это был мой шанс. Даже для Филиппова этот случай – выдающийся, тут имелись уже не мелкие побои, на которые наша Фемида всегда равнодушно закрывает глаза, а серьёзные увечья, способные вызвать серьёзные же юридические последствия. Кроме того, я полагал, что и сама жертва на этот не откажется от мести обидчику. У меня созрела мысль перевезти девушку к себе, вылечить и убедить выступить на моей стороне. Оставалось только уломать патрона передать мне её, но пока я поспешно сочинял аргументы в пользу этой идейки, проблема решалась сама собой. Немного помявшись, Филиппов сам предложил забрать беднягу. Собственно, другого выхода у него и не было. Избитая отчаянно нуждалась в медицинской помощи, а таскать врачей в «Алые паруса» было занятием рискованным. Собственника квартиры в доме хорошо знали, и кое-кто из местных обитателей вполне мог задаться, наконец, не совсем удобными вопросами.

Мы наспех условились о деталях, включая, разумеется, и материальную сторону дела, затем укутали избитую в одеяло и осторожно дотащили до машины в подземном паркинге.

Эта ночь моей гостье далась непросто. До пяти часов она пролежала без сознания, затем поднялась температура и начался бред. Знакомый врач, приехавший к семи утра, вколол обезболивающее и провёл полный осмотр. У бедняги обнаружили вывих руки, ушибы мягких тканей, сотрясение мозга, а главное – разрыв радужной оболочки правого глаза. Глаз, как выяснилось, был повреждён окончательно, после его пришлось удалить. Но в целом дела оказались не так уж плохи – жизненно важные органы оказались без повреждений, и даже не потребовалась, к огромной радости Алексея Анатольевича, какая бы то ни было госпитализация.

Распоряжением Филиппова в редакции мне дали двухмесячный отпуск, и я всё это время посвятил заботе о девушке. Первое время она лежала, не вставая, жевать пищу не могла, так что по совету докторов кормить её приходилось через трубку измельчённой овсяной кашей. Я менял ей памперсы, бегал за лекарствами, приводил врачей. Всё это было не так уж сложно, а, кроме того, у меня имелся огромный опыт заботы о матери. Время летело быстро. В конце второго месяца больная поправилась почти полностью, разве что врачи ещё не разрешали снять повязку с глаза (операцию на нём сделали на вторую неделю, как только она смогла ходить самостоятельно). Тогда мы уже активно общались. Оказалось, что девушку зовут Машей, она приехала в Москву из Перми, к своему брату, жившему в столице два года и работающему тут официантом в каком-то ресторанчике. Брат, у которого уже была семья, взять её к себе отказался, а больше в Москве бедняге устроиться было некуда. Первое время, пока у девушки ещё оставались деньги, она жила в маленькой семейной гостинице в Бутово, а когда те кончились, подвернулось место у одной старушки на Баррикадной. Эта старушка, бывшая сотрудница цирка на Цветном бульваре, болела какой-то дурной и неизлечимой болезнью и требовала постоянного ухода. Мария заботилась о ней, готовила, убиралась, доставала таблетки, и так далее. Старуха, впрочем, оказалась какой-то странной шовинистской, искренне презирала свою помощницу за то, что та была не москвичка, и подозревала за ней всякие гадости, к примеру, то, что девушка собирается отобрать её квартиру. Жизнь Маши постоянно отравлялась придирками, издевательствами и унижениями, которых даже эта кроткая овечка не смогла, наконец, терпеть. Вскоре она нашла место на овощебазе при марьином рынке «Садовод», которое особенно привлекло тем, что там иногородним давалось общежитие. В этот период её и обнаружил Филиппов, который регулярно рыскал по подобным злачным местечкам в поисках жертв. Он обхаживал её несколько недель – водил по ресторанам, которые она прежде видела только по телевизору, задаривал дорогими украшениями, таскал с собой в заграничные командировки, и, наконец, уговорил переехать к себе. По всей видимости, она совершенно искренне поверила ему (что, как увидит после читатель, было неким нравственным оксюмороном), а кроме того он, несмотря на свою плюгавенькую наружность, несомненно, по-настоящему понравился ей как мужчина. Причину, по которой он её избил, она и после, спустя месяцы не могла припомнить, да, впрочем, Филиппову и не нужен был для этого какой-либо особенный повод.

Меня Маша с самого начала сочла своим спасителем, неким рыцарем в сияющих доспехах, специально спустившимся в ад, чтобы вырвать её

из чёрных когтей Сатаны. Я мало рассказывал о себе, кроме самых очевидных фактов, которые нельзя было скрыть – то есть того, что я был подчинённым Филиппова и работал журналистом, и она сама сочинила остальную историю подобно тому, как в средние века менестрели слагали баллады во славу благородных героев. Сказка, которая она придумала, была неоригинальна: дескать, я вёл некое расследование по Филиппову, и, зная о наклонностях своего патрона, наконец, подкараулил его в «Алых парусах», как раз в тот момент, когда он напал на девушку. Моя забота о ней, конечно, подтверждала эту теорию. Ещё её подтверждали мои постоянные расспросы об её отношениях с Филипповым и угрозы подать на того заявление в милицию, что, как уже известно вам, нужно было мне в собственных целях. Но это последнее, к огромному моему удивлению и ещё большему разочарованию, встречало постоянный

и твёрдый отпор. Девушка кротко отказывалась от моих предложений, а когда я принимался настаивать, лепетала что-то о прощении, христианской добродетели и прочей ерунде. Я напоминал ей об унижениях, которые она терпела от Филиппова, в красках расписывал процесс над ним, упрасивал вспомнить о собственном здоровье... В ответ она только отрицательно качала головой и отмалчивалась. Я даже угрожал: дескать, милиция в конце концов поймает Филиппова, выяснит, что ты не сдала его, когда могла, и заведёт дело. Она верила, искренне пугалась, но всё-таки продолжала твердить свои мантры о прощении. Однажды, когда я был особенно настойчив, и даже прикрикнул на неё, она кротко глянула на меня своим единственным глазом, тихо встала, наскоро оделась, и сбежала из дома. Я насилу догнал её, когда она спускалась в метро, и лишь долгими уговорами и чуть ли ни вставанием на колени смог вернуть обратно. Признаться, я считал сначала, что девушка всё ещё влюблена в своего мучителя, и так как иных причин, кроме материальных, этому чувству не видел, то мнение о ней составил весьма нелестное. «Полюбились крыске сахарные крендельки», – размышлял я, с презрением поглядывая на неё. Однако, понаблюдав так с пару недель, понял, что ошибался. Дело было не в любви, а в некой жалости к нему, той жалости к угнетателю от забитости и кротости, что встречается только у русского человека. Это чувство не так уж редко у нас; оно очаровательно, во-первых, своей непредсказуемостью, потому что проявляется у самых неожиданных личностей, а во-вторых тем, что служит своеобразным выражением собственного достоинства, вместе с тем поднимая человека на невероятную моральную высоту, которая тем значительнее, чем меньше он сознаёт её. Уж не знаю, что человеческого Маша находила в Филиппове, чем оправдывала его. Подозреваю, что проделки его она списывала на психическое расстройство и, пожалуй, была близка к истине. Даже я, несмотря на всю свою обиду, не раз признавался себе, что одной лишь испорченностью его чудачества объяснить нельзя. Так или иначе, эта «жалость из бездны» была мне не по зубам, и как я ни старался переубедить девушку, но не добился ровным счётом ничего.

Глава восемнадцатая

Крушение моего хитрого миллионного плана, признаться, окончательно сбило меня с толку. Главное же – я совершенно не понимал, что теперь делать с Машей. Гнать её на улицу я не хотел, да и не решился бы ни при каких обстоятельствах (бывают сволочи сильные, а я слабая), Филиппов же, которому я при случае напомнил о девушке, вдруг обнаружил полное равнодушие к её судьбе. Впрочем, невзначай осведомился – не осталось ли у неё каких-нибудь фотографий из квартиры в «Алых парусах»? Я немедленно подхватил – дескать, Маша действительно намекала на некую пикантную коллекцию. И тут же верноподданно поинтересовался – не желает ли, мол, дорогой руководитель поручить мне разобраться в деле? Мои услуги он, однако, не принял – то ли я плохо сыграл свою роль, и он что-то заподозрил, то ли решил залечь на дно и подождать естественного развития событий. Разумеется, на деле никаких снимков у нас не имелось, да и они в любом случае были бы бесполезны без согласия Маши на участие в игре. Я оказался в патовой ситуации – с блефом, который можно было, подобно сигаретному дыму, развеять одним взмахом ладони с одной стороны, и бездомной и больной девушкой, совершенно не желающей сотрудничать – с другой. Надеяться можно было лишь на то, что рано или поздно у Филиппова не выдержат нервы, и он купится на мою фальшивую карту. Тогда я выступлю мнимым посредником между ним и Машей, и дело всё-таки выгорит, хотя и не с таким шиком (и, конечно, не в том масштабе), как я ожидал. Но время и тут работало против меня – синяки постепенно проходили, раны заживали, а вместе с тем и шансы наши таяли...

Ещё одним ударом оказалась депрессия Маши. Через месяц после операции врачи, наконец, сняли повязку с её глаза. Лицо оказалось повреждено не сильно, однако под самым глазом, от кончика века до переносицы шёл уродливый багровый шрам, похожий на раздавленного червяка. О том, чтобы избавиться от него окончательно не могло быть и речи. Девушка закрылась в своей комнате (я отдал ей бывшую спальню матери), и целыми часами рыдала, не пуская меня и отказываясь от еды. Я чуть ли ни ночевал у её двери, упрасивал образумиться, напоминал о будущем, о близких, которые её любят. Но это только усиливало слёзы, из чего я, кстати, сделал неутешительные выводы об её семейной ситуации. Со временем Маша начала приходить в себя – стала принимать пищу и, пусть и на короткое время, но выходить из комнаты. Дважды она заглядывала в мой рабочий кабинет, и каждый раз по несколько минут стояла в дверях, словно собираясь заговорить о чём-то. Но, так ни на что и не решившись, уходила. Я не догонял её и не расспрашивал, но в душе ликовал, предчувствуя, что, переварив свою трагедию, она всё-таки схватится за идею о мести. Однако, случилось нечто совершенно неожиданное. Однажды утром Маша собралась и отправилась прямо к своему обидчику домой. Подробности этой истории, и то очень обрывочные, она поведала мне лишь несколько месяцев спустя, и, по большей части, о ней я сужу лишь по слухам да со скудных слов самого Филиппова. Достоверно известно то, что дома она своего кавалера не застала, зато встретила любезную супругу, которая была так ошарашена этим неожиданным визитом, что, вопреки своему характеру, не закатила тут же один из своих знаменитых скандалов, а, усадив девушку в гостиной, терпеливо выслушала. Маша битый час подробно рассказывала о квартире в «Алых парусах», о подарках, поездках, и о любовных ласках любезного Алексея Анатольевича. Посреди разговора она, кстати, сдёрнула повязку, которую носила на глазу, и продемонстрировала женщине своё изуродованное лицо. Судя по дальнейшим событиям, на Филиппову эта беседа произвела неизгладимое впечатление. О проделках мужа она, как уже упоминалось, имела некоторое представление, но, очевидно, не подозревала в них такой драматической глубины. Подкупила, конечно, и скромность девушки, которая, не требуя ничего для себя лично, только просила повлиять на мужа «чтобы больше никто не пострадал». Филиппов немедленно был вызван

с работы для объяснений. Дома он кроме жены застал Машу и Филиппова-старшего, которого боялся пуще чумы. Я, наверное, отдал бы почку, чтобы посмотреть на физиономию дорогого начальника, когда тот, переступив порог собственной квартиры, наткнулся на эту весёленькую компанию. Порка продолжалась не меньше трёх часов. По итогам её наш герой лишился квартиры в «Парусах», счета и карты его подверглись строжайшей ревизии, а сам он оказался фактически под домашним арестом – отныне выезжать куда-либо, кроме работы, ему категорически запрещалось. Говорили, кстати, что во время экзекуции он расплакался как пятилетняя девочка, размазывая по красной мордашке сопли и слюни, и битый час ползал перед женой и тестем на колени... Что касается Маши, то ей предполагалось выделить некую сумму на лечение, и даже снять жильё, однако она ото всего благородно отказалась. Там, разумеется, никто особенно не настаивал.

Мне о происшествии Маша не обмолвилась ни словом, и потому события дня следующего оказались полной неожиданностью. Филиппов с утра вызвал меня в кабинет, и устроил жесточайшую экзекуцию. Я оказался виноват во всём – и в том, что не следил за девушкой, и что не запугал её как следует и, наконец, в том, что не вывез куда-нибудь из Москвы «как мы договаривались» (в реальности о том и речи не было). Я думал, что Филиппов теперь выгонит меня к чёртовой матери с работы, однако, он, видимо, трусил. Ведь его жертва всё ещё жила у меня, и кто знает, к кому она отправится в следующий раз? Он сглупил – притащил её пару раз к каким-то своим родственникам и близким друзьям, и некоторые адреса она могла запомнить. Мне было строго-настрого наказано сидеть дома, никуда не пускать Марию, а кроме того, я получил из неких тайных сбережений довольно приличную сумму на лечение. Деньги, к слову, в самом деле ушли врачам – я не взял из них ни копейки. Девушке вставили искусственный глаз, сделали хорошую пластику, и хотя шрам убрать окончательно не удалось, всё-таки различить его теперь можно было лишь вблизи.

С тех пор мы зажили странной, нервной жизнью, в которой и теперь я ни черта не понимаю. За пару недель мы едва ли сказали друг другу и десяток слов. Маша всё время проводила в своей комнате, никуда не выходя, я же сидел у себя, занимаясь редакционными делами. После я узнал, что история с Филипповым стоила моей гостье немалой крови. Она и радовалась тому, что всё окончилось благополучно, и винила себя в том, что не смогла до конца соблюсти свою проклятую кротость. Разоткровенничавшись много после, она созналась, что, вид умоляющего и приниженного Филиппова неожиданно доставил ей огромное удовольствие, и более того, она с трудом удержалась от того, чтобы не толкнуть того ногой. Странно – она совершенно искренне не гордилась своим самоотверженным поступком, но эту секундную слабость, несколько принижавшую его значение, переживала ужасно, словно военачальник, одержавший победу в кровопролитной битве, но всё-таки упустивший вражеский флаг. Какими тонкими, изящными линиями вычерчивается порой характер!

Моя же деятельность вся свелась к ожиданию. Я не знал ни намерений Филиппова относительно девушки, ни того, какие выгоды можно перехватить в этой ситуации. Посвященность в его тайны была существенным капиталом, который со временем принёс бы значительные дивиденды, но чем больше я рассуждал, тем отчётливее понимал, что осуществление плана потребует от меня непомерных усилий. Главное – моральных. Придётся врать, юлить, выкручиваться – а подлость всё-таки не даётся в юности легко, что бы там ни рассказывали на мотивационных бизнес-тренингах. Мне всё чаще казалось, что я выбрал в жизни неверное направление, а все мои игры, начатые от скуки и злобы, зашли слишком уж далеко. Я словно стоял на перепутье, и впору было решать – делать ли карьеру, или попробовать себя в чём-то новом? В такие моменты я частенько поглядывал на Алексея, который со своим нелепым донкихотством был всё-таки очень симпатичен мне. Он жил чистой, правильной, хотя и несколько игрушечной жизнью, я же существовал словно по колено в дёгте, он шагал по широкой дороге

с развёрнутым знаменем в руках, у меня же имелись лишь грязные делишки да тёмное, как нора, будущее, в которое предстояло протискиваться, потеть и извиваясь...

Что до Маши, то после выходки с Филипповым мне стало видаться в ней что-то мрачное, почти мистическое. Она представлялась мне некой суровой Немезидой, спустившейся с Олимпа, чтобы разить грешников, и я, понимая за собой кое-что, без шуток побаивался её. Однако, вскоре стал замечать за своей Немезидой довольно странные поступки. Сталкиваясь со мной в коридоре, она застывала на месте и краснела. Когда мне приходилось глянуть в её сторону, поспешно отворачивалась, и кроме того, приобрела привычку без особой причины заходить ко мне в комнату, и интересоваться всякой ерундой, вроде погоды и времени. С изумлением я догадался, наконец, что Маша просто-напросто по уши влюбилась в меня. Впрочем, если рассуждать здраво, то иначе и быть не могло. Не зная ничего ни о моих отношениях с Филипповым, ни о планах на неё, она приписывала мне какое-то необыкновенное, рыцарское благородство. Рискуя жизнью, я спас её от могущественного злодея, заботился о ней, лечил, истратив на это огромные деньги (вероятно, все свои сбережения), при этом не требуя ничего взамен. Будь на моём месте Квазимодо, она, конечно, втрескалась бы и в него.

Масла в огонь подлил и Алексей, который время от времени навещал меня. Историю с Филипповым, которую я ему нехотя рассказал (надо же было как-то объяснить девушку), он раздул до небес, и расхваливал меня Маше на все лады. Прежде он относился к моей работе без особого энтузиазма, и я всё время чувствовал, что он чем-то пытается оправдать про себя моё тёпленькое буржуазное существование. Теперь же всё стало на места. Я, конечно, был виноват перед человечеством за то, что не вступил в какую-нибудь нищую благотворительную шарашку подобно ему, Алексею, но душу всё же не продал и, едва заметив несправедливость, немедленно выступил в защиту униженных и оскорблённых. Всё это он, кстати, однажды с восторгом высказал мне. Я слушал, закатывал глаза и тосковал. Маша же, чуть ни подпрыгивала от восхищения. Обычно молчаливая, она часами расспрашивала Лёшу своим тихим, робким голоском о нашем знакомстве, моём характере, других подвигах, которые он тут же находил в памяти, на лету производя из мух слонов.

Вообще, с тех пор, как Маша поселилась у меня, Коробов стал показываться в моей берлоге намного чаще, и я то и дело замечал, что он бросает на девушку грустные и задумчивые взгляды. Впрочем, и посмотреть было на что – даже несмотря на своё увечье Маша была весьма симпатична. Роста небольшого, но зато стройная, с густыми русыми волосами, непослушной копной спадающими на плечи, с выразительным, несколько удлинённым лицом, вздёрнутым носиком, пухлыми короткими губами и выдающимся, несколько даже грубовато очерченным подбородком. Не знаю, собирался ли он за ней ухаживать – во всяком случае, ни разу не спросил меня о том, свободна ли она. Ему, видимо, казалось, что у нас уже наклюнулись какие-то отношения, и, конечно, влезать между нами он ни за что бы не стал.

Глава девятнадцатая

Что ж, отношения эти в самом деле начались. Не помню, как всё случилось – кажется, был какой-то ужин при свечах, лишняя бутылка вина, тихая музыка, откровенные разговоры... Отчётливо помню лишь то, что во время нашей близости мне не давала покоя мысль об её уродстве. Я боялся лишний раз пошевелиться, мне чудилось, что стеклянный глаз вот-вот выпадет из глазницы, и я с отвращением предчувствовал его холодное влажное касание... Сами же отношения казались мне чем-то мимолётным, и я как-то по умолчанию полагал, что так же считает и Маша. Подоплёка была гаденькая – мол, должна же калека понимать своё место? Впрочем, это только чувствовалось на уровне эмоций, а не отчётливо проговаривалось, даже мысленно – разница всё же есть. Но тянулись месяцы, прошёл год, а мы ещё жили вместе. Я постепенно привык к ней, а она явно привязалась ко мне. Со временем она всё чаще заговаривала о свадьбе. Я редко спорил, хотя эти беседы раздражали меня. Мне виделось что-то даже оскорбительное в том, чтобы навсегда связаться с изуродованной содержанкой своего начальника. Зная историю и характер Маши, я понимал, что подобные штампы – не про неё, но всё-таки сердился. Наверное, я и сам немного поверил в своё необычайное благородство, о котором мне так часто твердил Алексей, иначе признался бы себе откровенно, что просто ожидал варианта получше...

Между тем появилась определённая ясность и в отношениях с Филипповым. Случилось самое банальное и в то же время самое неожиданное из возможного: он помирился с женой. Она простила его, вернула доступ к деньгам, и даже разрешила кое-какие из прежних шалостей. Не знаю, почему я сомневался в этом, люди они были разумные и, главное, привычные. Тесть, кроме того, нашёл ему сладенькое местечко в новом министерстве по делам национальностей. Филиппов часто намекал прежде, что не забудет меня, когда пойдёт на повышение, и после этого назначения я с нетерпением ждал от него звонка. Я суетился, нервничал, злился, но, когда спустя месяц он всё же позвонил, неожиданно для самого себя отказался от приглашения. Не знаю, то ли тут сказались некие прежние размышления, то ли во время разговора мелькнуло на мгновение, как вспышка, какое-нибудь гаденькое воспоминание, но одна мысль о том, чтобы работать с этой мразью, улаживать её делишки, рыться в грязном белье, показалась мне невыносимой. Он уговаривал, даже настаивал, но я не уступил. Беседа наша, впрочем, окончилась на мажорной ноте. Филиппов пожелал мне удачи и наговорил множество комплиментов. Он обмолвился, кстати, о том, что я всегда ему нравился, потому что, дескать, напоминаю его самого в молодости. Я усмехнулся про себя – ровно то же я слышал несколько лет назад от Алексея Коробова. На каких, однако, странных тропках встречаются порой совершенно противоположные люди... О Маше он не сказал ни слова, я же от греха подальше решил не напоминать. Думаю, после примирения с женой он перестал так уж сильно бояться разоблачения – всё, дескать, можно решить. Не завидую я девчонкам, которым впоследствии не повезло столкнуться с ним на жизненном пути...

Некоторое время я продолжал работать в редакции. Впрочем, именно работы было мало – мне почти ничего не поручали, так как из-за своих делишек с Филипповым из газетного процесса я давно выпал, но в то же время боялись и уволить. Я переписывал кое-какие статейки, проводил летучки в своём отделе, состоявшем из двух вечно дремлющих пенсионеров, а в остальное время торчал в кабинете, попивая чай и копаясь в интернете. Всё это могло тянуться бесконечно долго, однако было смертельно скучно. Как-то утром я вошёл в кабинет главного редактора, смурного старика с усеянным красными бородавками лбом, и положил ему на стол заявление об уходе. Видимо, неопределённость моего положения вкупе с солидными связями сильно беспокоила его прежде, потому что ему большого труда стоило скрыть свою

радость. Он даже улыбнулся, чего прежде никогда не замечалось за ним, став при этом ужасно похож на замшелый пенёк, вдруг освещённый заблудившимся в чаще солнечным лучом.

Первые несколько месяцев после увольнения я оставался фрилансером. Писал для онлайн-изданий, промышлял копирайтом, и даже черкал кое-что о путешествиях и чудесах науки в глянецовые журналы, вроде Cosmo, Vogue и Elle. Глянец платил больше всего – 300—400 долларов за статью, однако меня просто тошнило, когда я обнаруживал свой текст рядом с материалом об эrogenных зонах, десяти способах заставить мужчину покупать подарки, сплетнях об обитателях Дома-2, и прочей розовой блевотиной. Денег, конечно, не хватало. Работая с Филипповым, я получал от двухсот до трёхсот тысяч, живя затем на одну зарплату в редакции, был ограничен ста двадцатью, фриланс же давал не больше шестидесяти – и то в хороший месяц. Одни материальные трудности меня бы не тронули так сильно, однако на них наложился серьёзный психологический кризис. Уйдя из редакции, я перевернул страницу в жизни, но на обороте нашёл одну пустоту. Я отказался от гарантированной карьеры, от хороших денег, и ради чего? Чтобы за копейки писать всякую чушь в глупые журнальчики, да править бессмысленные статейки для мусорных сайтов? Для того, чтобы разобраться в себе, найти новые цели, требовалась большая внутренняя работа. Но с налёту её нельзя было сделать, и моё раздражение, как это часто бывает, выплёскивалось на самое очевидное. Деньги, которым я прежде не придавал значения, теперь превратились дома в главную тему для разговоров. Любая трудность – случалось ли нам с Машей экономить на продуктах, покупать технику попроще на замену прежней дорогой, или откладывать путешествие, становилась у меня поводом для нытья. Я жаловался на жизнь, вспоминал прежние времена, когда можно было ни в чём себе не отказывать, и монотонно, словно расчёсывая зудящую рану, одну за другой припоминал наши неприятности. Маша всё выносила кротко. Она очень наивно приняла мои стенания на свой счёт, решив, что потеря денег расстраивает меня только потому, что я боюсь вместе с ними лишиться и её. И потому, как могла, успокаивала, убеждала, что не бросит ни за что на свете, что согласна ради нашей любви сидеть на хлебе с водой, и так далее. Всё это, разумеется, со светящимися глазками (точнее – глазиком) и дрожащим голоском. Подобная сентиментальщина и всегда бесила меня, теперь же просто выть хотелось. Впрочем – отмалчивался, про себя копя раздражение. Странное это было время – глупое, жестокое, пустое.

Из него, из этого времени, вспоминается один эпизод, который обязательно надо рассказать – требует сердце. Как-то утром Маша ушла из дома до рассвета, а вечером прислала эсэм-эску о том, что устроилась на работу в салон сотовой связи. Причиной тому были, конечно, мои постоянные жалобы на трудности с деньгами. Однако я не обрадовался этой новости, а испугался и разозлился. Врачи ещё запрещали девушке работать, и, кроме того, на недавнем приёме выяснилось, что у неё снова начало ухудшаться зрение. Я боялся, что переутомление в итоге приведёт к тому, что Маша перестанет видеть совсем. Волновался, разумеется, не за неё, а за себя – не хватало мне ещё возиться со слепой. Получив сообщение, я немедленно отправился в этот чёртов салон, чтобы уговорить её бросить работу. Располагался он на «Киевской», у входа в многоэтажный торговый комплекс. Это был длинный, очень узкий магазин с запыленными стеклянными стенами, вдоль которых длинными рядами тянулись полки с товаром. Машу я заметил сразу – в фирменной жёлтой маечке она возилась у витрины с какими-то аксессуарами, ловко и быстро расставляя их по местам. Я даже остановился, залюбовавшись на неё. И простоял так долго, минут десять. Странное чувство – смесь стыда, умиления и жалости, вдруг обездвижило меня. Впервые в жизни я переживал нечто подобное, и, клянусь, легче бы перенёс раскалённые иглы под ногтями! Я вспоминал о кроткой, бескорыстной привязанности девушки ко мне, и о том, как дважды обманул её – сначала попытавшись воспользоваться её горем в своих целях, а после – со скуки закрутив с ней роман. Вспомнил, что собираюсь обмануть снова – ведь рано или поздно я брошу её, и что тогда? Она останется совсем одна в чужом городе, униженная, больная, разочарованная... Я причинил и неизбежно

причину ей ещё столько зла, и вот она трудится, жертвуя слабеньким своим здоровьем, чтобы я мог лишний раз сходить в кафе или купить какие-нибудь чёртовы джинсы. Сердце тяжело бухало в груди, в голове копошилось чёрное, вязкое... Мелко сеялся холодный дождь, а я стоял, растерянно глядя то на Машу за стеклом, то на мокрые плиты тротуара, в которых тускло блеснул жёлто-красный московский вечер, то на одинокую берёзу у входа в здание, чьи тёмные ветви, похожие на вздетые к небу в безмолвном отчаянии руки грешника, отчётливо рисовались на фоне ярких витрин.

Не знаю, что произошло со мной вдруг. Словно током ударило: захотелось ворваться в салон, упасть перед Машей на колени, рассказать ей обо всём и за всё попросить прощения. «И Филиппов на коленях стоял», – с какой-то даже радостью, резко блеснувшей в уме, вдруг вспомнил я. Целую минуту я боролся с собой, целую страшную, мучительную минуту в душе моей ломался лёд, шумел ветер и ревела талая вода. Как часто вспоминаю я этот момент! Решись я тогда – и, наверное, Бог во мне победил бы, и я, покаявшись, примирился бы с миром. Но я желал ненавидеть, хотел войны, и потому – проиграл. Сначала редко, а потом чаще, ярче замелькали прежние подозрения, сомнения, страхи. Наконец, воспоминание о Машином увечье жёлто-зелёной слизью хлынуло в сознание, заполнило старые, натёртые рубцы, и привычная холодная брезгливость, отступившая было на миг, вернулась на прежнее место. Я постоял ещё немного, а затем развернулся и ушёл, оставив на том мокром тротуаре своё сердце.

Глава двадцатая

В начале недели позвонил Алексей с неожиданными новостями. Выяснилось, что он ушёл из своего фонда, и устроился в «Московский курьер», старую либеральную газету, существующую с самого начала девяностых. Там же оказалось местечко и для меня. Я согласился с радостью – от скуки мне уже в пору было лезть на стену.

Редакция располагалась в просторном двухэтажном здании на Цветном бульваре, в квартале от метро. За почти двадцать лет своего существования газета пережила множество метаморфоз. Открыл её известный в начале девяностых авторитетный бизнесмен Черненко, двумя годами позже застреленный знаменитым Солоником в тёмном арбатском переулке. Деятель это был чрезвычайно оригинальный, и в высшей степени русский, несмотря на то, что имел глубокие еврейские корни. Как человек русский, он страдал от безыдейности, постигшей российское общество с крушением Союза, а как оригинальный – полагал, что проблему можно решить с напора и одним махом. «Московский курьер» задумывался им как некий идеологический центр, едва ли ни институционального характера, и был призван ни много ни мало разрешить противоречия между либералами и почвенниками, по возможности обратив последних в либерализм, а следом за тем утвердить либеральную идею в качестве краеугольного камня российской ментальности. Сейчас это звучит ужасно наивно, но в девяностые в подобных планах не было ничего ни удивительного, ни редкого. Переломные моменты в истории вообще всегда отмечены гигантоманией. Впрочем, с самого своего создания «Курьер» ничем не отличался от сотни точно таких же изданий «с идеей», которых в те годы развелось как грибов после дождя. Несмотря на то, что в газете сотрудничали известнейшие в то время журналисты, она прошла ровно тот же путь, что и любое другое тогдашнее либеральное издание. Началось всё с интеллигентных и весьма симпатичных мечтаний о западной цивилизации и правах человека, а окончилось года три спустя в том жанре, который лучше всего характеризует классическое – «этот стон у нас песней зовётся», – то есть на ужасном русском народе, не сумевшем понять демократию, тяжёлом наследии коммунизма, рабском менталитете, и тому подобном. Отличие было только в том, что если прочие либеральные прогрессисты рассуждали на подобные темы отвлечённо, то «Московский курьер», ввиду наличия значительных средств, не переводившихся у Черненко, успешно подвизавшегося на благодатной ниве торговли контрафактом и махинаций с недвижимостью, имел на то своего рода эмпирические основания. К примеру, осенью 94-го года редакция затеяла пафосный проект по «реконструкции городского культурного пространства», названный в честь голландского уличного художника Марка Вернье (личность, к слову, выбирали именно из соображений малоизвестности, элитарность тогда ещё не успела опошлиться). На эту «реконструкцию», с пафосом презентованную в холодных мраморных стенах «Президент-отеля», были выделены колоссальные по тем временам двести тысяч долларов. Разумеется, закончилось всё пшиком – разрисованными сюрреалистическими узорами скамейками на Гоголевском бульваре, да какими-то странными качелями в форме улитки, поставленными у входа парк Горького. Но главная беда постигла центральную задумку проекта – так называемый «Концертофон», торжественно открытый в Ботаническом саду. Прибор этот представлял собой торчащую из земли изогнутую трубу с динамиком, на грани которой находился ряд кнопок, нажимая которые, можно было проигрывать различные классические произведения. Вокруг «Концертофона» были по примеру греческого театра в четыре ряда поставлены каменные лавочки для зрителей. Ясно, что желающих сидеть на холодном камне вокруг странного прибора оказалось немного (что, впрочем, и неудивительно, учитывая особенно то, что открытие произошло в середине ноября), и «Концертофон» всю зиму поэтично ржавел среди пустынных аллей сада. А с наступлением тепла какая-то пьяненькая компания насовала в динамик проигрывателя окурков, тем самым выведя его из строя и окон-

чательно поставив крест на прогрессивном начинании. Ремонтировать устройство не стали, а вместо того у подножия его в обстановке, торжественностью не уступавшей самому открытию, водрузили чугунную табличку с надписью, отлитой аршинными буквами: «Не работает по причине вандализма». После этого газета разразилась серией панегириков о варварстве и бескультуре, с непременным выводом о том, как несчастны немногочисленные интеллигентные обитатели этой страны. Впрочем, были и другие мнения. В частности, в прохановской «Завтра» о табличке ехидно отозвались как о надгробии либерализму первой волны, которое он, что примечательно, сам же себе и установил. После трагической гибели Черненко от безжалостной руки киллера, судьба долго швыряла газету туда-сюда. Она побывала и в сальных ручонках криминального банкира, наполнившего её джинсой и отмывавшего через бухгалтерию деньги, и в составе крупного издательского холдинга, превратившего газету в холодный деловой дайджест, и просуществовала пару лет в качестве ведомственного издания крупной промышленной группы, канувшей в лету после ряда громких уголовных дел. Наконец, «Московский курьер» был выкуплен за символические деньги собственной редакционной коллегией. Что удивительно, читателей он не растерял, и даже спустя годы имел устойчивый пул подписчиков. Отчасти дело было в том, что издание, сохранив либерализм в качестве основного направления, в то же время претендовало на некую идеологическую полифонию. Тут привлекали и пламенных социалистов, за излишний экстремизм отлучённых от изжелта-серых полос прохановской «Завтра», и монархистов, и правых либералов, и даже либертарианцев, оказавшихся не удел после разгрома «Ленты» и «Газеты». Удивительно, но вся эта публика уживалась под одной крышей на удивление легко. Споры между коллегами, конечно, случались, причём весьма жаркие, а в виде исключения бывали и драки. Но, впрочем, даже последнее происходило почти в рамках приличия, и не заканчивалось настоящими, бесповоротными ссорами. Отчасти, дело заключалось в том, что иным из сотрудников было больше некуда деваться, и, не будь «Курьера», им пришлось бы обустриваться за пределами профессии. Так или иначе, этот коктейль из разнообразных взглядов и зачастую противоположных убеждений, полюбился думающему читателю, одновременно и уставшему от кондовой пропаганды больших изданий, и не желающему кидаться в объятия к радикалам.

Глава двадцать первая

Мы с Алексеем замечательно устроились в «Курьере». Я черкал кое-какие новостные заметки, да понемногу редактировал тексты, шедшие в номер, Алексей же занялся своими расследованиями. Конкретно в моей работе не было ничего сверхъестественного. Новости в большинстве наших изданий вообще пишутся просто – вы просто переставляете слова в сообщении с ленты ТАССа или Интерфакса, ну или, если хотите отличиться, звоните какому-нибудь чиновнику, чья компетенция близка к информационному поводу, да берёте у того кратенький комментарий. В день я писал одну-две заметки, и, не особенно напрягаясь, справлялся до обеда. Во второй половине дня «искал материалы», то есть сидел в интернете, пил кофе, да таскался по презентациям и пресс-конференциям. На большее покамест не посягал, и дело было отнюдь не в лени или беспечности (как бы я, кстати, хотел быть лентяем или раздолбаем!). Просто я находился в некоем ментальном ступоре. У меня ещё с филипповской газеты остался неразрешённым вопрос о собственном месте в профессии. Работая там, я сетовал на казёнщину и затхлую атмосферу, затем, занимаясь фрилансом, жаловался на легковесность тем. Теперь же, оказавшись на вольном просторе, уже не мог придумывать отговорки. Так что, пользуясь передышкой, я внимательно присматривался к происходящему, пытаюсь отыскать своё место. Что до Алексея, то он цвёл и благоухал, как майская сирень. Вот уж у кого никогда не было сомнений по поводу призвания! Он бросался на всё подряд – собирал материалы о коррупции в правоохранительной системе, копался в тёмных делишках чиновников разного калибра, влезал в дела каждого униженного и оскорблённого, забредавшего в редакцию. На прежней работе в фонде он занимался преимущественно социальными вопросами, причём постоянно был завален нудной бумажной работой, теперь же у него оказались развязаны руки. В статусе журналиста его борьба за справедливость заиграла новыми красками – он получил возможность официально проводить расследования, запрашивать документы, встречаться с чиновниками. Его немного подводило незнание законов и непонимание специфики работы органов власти, но зато энергии имелось с избытком, и дела худо-бедно шли в гору. Первое время успехи были лишь с мелюзгой – с милиционерами, выдававшими регистрационные свидетельства на угнанные машины, с сотрудниками наркоконтроля, торговавшими изъятый травкой, с чиновниками Мостранса, незаконно штрафовавшими занятых на ремонте дорог мигрантов... Но однажды над Алексеем, шумя тяжёлыми кожистыми крылами, пронёсся дракон. Тот самый – со стальной чешуёй, когтистыми чёрными лапами и огненным дыханием, о котором он так давно и отчаянно мечтал. Вообще-то былинный ящер уже давно кружил над Москвой, питаясь овечками, поросятами, и прочей мелкой живностью. Ему на удивление долго удавалось оставаться незамеченным, но однажды подвела жадность. Как-то дракону приглянулся тучный буйвол, ненароком отбившийся от стада. Он не рассчитал сил и в завязавшейся драке получил мощный удар рогами в бок. Со шкуры его со звоном сорвалась одна блестящая чешуйка и унеслась, влекомая дымным столичным ветром. Ветер долго таскал её над городом, и, наконец, отпустил на все четыре стороны над редакцией нашего «Курьера». Покувыркавшись немного в воздухе, она залетела в окно коробовского кабинета и аккуратно опустилась на стол, где по волшебству обернулась истрёпанным канцелярским бланком. Значилось в нём следующее: «Вниманию средств массовой информации!

Академия послевузовского образования «Велес» обращается к вам с просьбой оказать информационную помощь нашей организации. В прошлом году мы столкнулись с рейдерским захватом нашей собственности со стороны ООО «Первая строительная компания». На наше здание, расположенное по адресу: улица генерала Тюленева, дом 154, был наложен судебный запрет. Мы выяснили, что ООО «Первая строительная компания» имеет планы на строительство по указанному адресу многоэтажного торгового комплекса, и давно предъявляет

претензии к городским властям по поводу права собственности на данное здание. Несмотря на то, что АПО «Велес» выиграла апелляционный суд, а также подтвердила право собственности в отделении Росреестра города Москвы, ООО «Первая строительная компания» продолжило внесудебное давление на АПО «Велес». 18 сентября 2012 года в указанное помещение ворвались вооружённые молодчики, которые силой выгнали преподавательский коллектив АПО «Велес» на улицу, и заняли помещение. Приехавшему на вызов наряду полиции были предъявлены фальшивые регистрационные документы, якобы подтверждавшие принадлежность здания «Первой строительной компании». Присутствовавший на месте первый заместитель директора указанной фирмы Н. А. Белов с сотрудниками АПО «Велес» беседовать отказался. Вечером этого же дня здание было освобождено прибывшими силами московского ОМОНа, однако, нам известно о новых противозаконных акциях, которые готовят представители ООО «Первая строительная компания». Просьба обратить внимание на ситуацию и по возможности предать её огласке.

Генеральный директор АПО «Велес» Смирнов Антон Викторович

Историческая справка: Академия послевузовского образования «Велес» существует с 1994-го года и объединяет более шестидесяти преподавателей, профильных специалистов и научных работников. Мы повышаем квалификацию сотрудников химической, металлургической и лёгкой промышленности, работая по тридцати шести направлениям. За годы работы АПО «Велес» выпустила более сорока тысяч специалистов, ныне работающих в различных отраслях реального сектора экономики России».

Рейдерские захваты стали в последнее время настолько заурядным делом, что, наверное, изо всей московской журналистской братии один Алексей с его молодым задором не проигнорировал это сообщение. Он связался с руководством «Велеса» и выяснил подробности атаки. Оказалось, однако, что к этому моменту ситуация разрешилась, причём самым приятным для академии образом. Мир со строителями был заключён, и, кроме того, учреждение получило значительную компенсацию за понесённые издержки. Другой бы на месте Лёши успокоился, однако наш герой продолжил копать. У строительной компании оказался интересный послужной список. Создана она была в конце девяностых весьма известным и ныне деятелем – Степаном Ильичом Гореславским. Он проявил себя с такой энергией, что собрать данные оказалось просто. Сеть полнилась слухами об его криминальных делишках в начале девяностых, среди которых мелькали такие подвиги как крышевание проституции, рэкет, торговля конфискатом, и тому подобное. Милиция раз двадцать заводила на него уголовные дела, однако, безрезультатно – Гореславский, во-первых, был осторожен и документально нигде не следил, а во-вторых умел мастерски запугивать немногочисленных свидетелей, которые один за другим отказывались от показаний. В его «бригаде» состояло по разным оценкам до ста пятидесяти человек, и размах свершений был впечатляющим. Однако, как все умные бандиты, Гореславский стремился выйти в легальное поле, и в девяносто восьмом году организовал три вполне официальных бизнеса. Два из них – транспортные услуги и торговля автомобилями прогорели почти сразу. А вот с третьим направлением – строительством – Гореславскому повезло. «Первая строительная компания», как он назвал свою фирму, росла не по дням, а по часам. К середине двухтысячных её оборот составлял почти триста миллионов долларов. Занимались в основном коммерческой недвижимостью и инфраструктурными проектами – клали по муниципальному заказу трубы и силовые кабели, возводили электрические подстанции и водонапорные башни для новых микрорайонов Москвы, росших как на дрожжах. Методы использовали грязненькие – в одном месте действовали взяткой, в другом угрожали, в третьем подключали нечистых на руку чиновников. При этом жалоб на компанию не было, во всяком случае, значительных – в жертвы себе они выбирали или совсем слабых и неспособных защищаться, или таких же мутных дельцов, как они сами. Впрочем, в последние года два строители стали ата-

ковать дичь покрупнее – академия «Велес» в этом списке оказалась лишь одним из множества пунктов. Алексей отметил между прочим одну странную закономерность. В течение полугодя два из примерно десятка объектов, на которые претендовал Гореславский, неожиданно сгорели. Первое здание – склад сельхозтехники в Бутово, пожар уничтожил в начале июля, второе – бывшее общежитие завода «Москвич», находившееся в Чертаново, полыхнуло в сентябре. В обоих случаях никто не пострадал, никаких вопросов не возникло и у правоохранительных органов. И склад и общежитие были давно заброшены, причём общежитие, стоявшее на отшибе, частенько посещали бездомные, часто разводившие там для своих нехитрых нужд огонь. Но дотошный Алексей добыл материалы обоих дел, и снова обнаружил странное совпадение – и в Чертаново, и в Бутово выявились некоторые признаки поджога – рядом с постройками нашли мешки с тряпками и пустые канистры от бензина. По всему было видно, что следователей эти предметы не заинтересовали – и валялись они достаточно далеко от зданий, и вид имели потрёпанный, так что могли пролежать на земле сколь угодно долго. Алексей и сам бы, наверное, ни о чём не догадался, если бы не один штришок – канистры оказались одного типа, с клеймом венгерской фирмы «Narda» на днищах. Он пробил название в Интернет-поисковиках и сразу выяснил, что эта фирма – достаточно небольшая, и владеющая всего одним крошечным заводом, в Россию продукцию никогда не поставляла. Следовательно, канистры ввезло в страну частное лицо, и, судя по штучности товара, им был или поджигатель, или некто, тесно с ним связанный. Между тем мэрия Москвы предписала снести сгоревшие здания, как находящиеся в аварийном состоянии и представляющие опасность для людей и экологии, и вскоре их выставили на торги вместе с землёй – самостоятельно возиться со сносом аварийных построек собственники не пожелали. Алексей совсем не удивился, когда оказалось, что склад в Бутово купила небольшая фирма «Санрайз-экспресс», аффилированная с Николаем Беловым – тем самым, что упоминался в письме «Велеса» как заместитель Гореславского в «Первой строительной». Вскоре ещё одна связанная с ним компания – «Венор», подала заявку на участие в торгах по чертановскому общежитию... Впрочем, выяснив всё это, Алексей лишь иронично усмехнулся весёленьким нравам московской бизнес-среды, и только. Участвовать в имущественных спорах у него не было никакого желания. Да оно и понятно – дело героя спасти мир со сверкающей шпагой в руке, тут же предстояла кропотливая бумажная работа, притом с результатом, не стоящим ломаного гроша. В лучшем случае одно юрлицо чуть обогатится, а другое несколько обеднеет. Скука смертная! Но в январе следующего года пламенное дыхание дракона вновь обожгло город, и на этот раз не обошлось без жертв. Речь шла о небольшом универмаге в Замоскворечье. Здание, находившееся на берегу Москвы-реки, было построено в конце сороковых годов пленными немцами из армии Паулюса, окружённой под Сталинградом. Когда-то оно обслуживало нужды рабочего посёлка, по совместительству являясь сельской администрацией, библиотекой и клубом, затем было перепрофилировано в универсальный магазин, а в наши дни на него положили глаз строители. Вокруг здания давно и стремительно возводилась элитная недвижимость – бизнес-парки, виллы, яхт-клубы с причалами. Рабочий посёлок постепенно расселили, а домики снесли. Здание трубного завода, к которому он некогда относился, переделали под новомодные лофты, и только старый универмаг мозолил глаза девелоперам. Его единственным собственником было небольшое агентство недвижимости «Файзер», которое стояло насмерть и ни за что не соглашалось продать объект. Разумеется, испробовали всё – и шантаж, и деньги, и административное давление, но ничего не вышло. Я уж не помню, в чём конкретно там было дело, кажется, у одного из файзеровцев имелись связи в прокуратуре или что-то в этом роде. Сама же компания, как выяснилось, вовсе не намеревалась сносить старый универмаг, а собиралась отреставрировать здание и переделать его в досуговый центр. Там считали, что сорвали банк – элитной недвижимостью, построенной на месте рабочего посёлка, катастрофически не хватало инфраструктуры. Территорию застраивали несколько фирм, постоянно конфликтовавших друг с другом, и, увлёт-

шись разборками, они так и не договорились о возведении минимальных для жилья такого класса удобств – ресторанов, магазинов и фитнес-клубов. Собственникам роскошных вилл и лофтов предстояло выезжать за продуктами и развлечениями в город, толкаясь по пробкам, что, конечно, никуда не годилось. Вопрос постепенно решался, однако до этого момента старый универмаг как минимум на пару лет мог стать единственным торгово-развлекательным центром элитного городка, принеся за это время сказочные барыши своим владельцам. Перестройка его под нужды миллионеров велась полным ходом. Там уже шли отделочные работы. Ежедневно подъезжали грузовики со стройматериалами и автобусы, гружёные смуглолицыми рабочими, раздавался дробный грохот отбойных молотков. И вот в самом начале января, когда ремонт на время новогодних праздников остановился, в здании случился чудовищный пожар. Начавшись в три часа ночи, он в считанные минуты сожрал перекрытия на первом этаже, и по деревянной лестнице перекинулся на второй. Там перекрытия тоже держались недолго, и всего через полчаса здание с оглушительным треском накренилось на левый бок. Посыпалась штукатурка, зазвенели стёкла, и универмаг наконец обвалился совсем, подняв в воздух колоссальное облако пыли и пепла. Приехавшим вскоре пожарным не нашлось работы – от строения остались одна шиферная крыша да кирпичные обломки, разбросанные на пару десятков метров кругом. Но когда пожарные собирались уезжать, передав эстафету прибывшим полицейским, кто-то из них расслышал из-под руин слабый стон. Раскидав баграми кирпичи, спасатели обнаружили девочку лет семи в ситцевом платице и красных ботиночках. Охрипнув от крика, она только тихо стонала, протягивая к людям свои худые ручонки. Один из пожарных взял девочку на руки, но тут же заметил, что она пытается вырваться, показывая пальчиком на разбитый дом. Понять, что ей нужно, не удалось – бедняжка совсем потеряла голос и на все вопросы лишь тихонько хрипела. Всё прояснил представитель «Файзера», прибывший на место трагедии полчаса спустя. Выяснилось, что в здании бывшего универмага ночевал сторож, нанятый для охраны материалов, назначенных для ремонта. Девочка же оказалась его внучкой, которую он часто брал с собой на дежурство. Сторож был старичок лет шестидесяти пяти, живший в спальном микрорайоне в километре от элитного посёлка. Он, вероятно, задохнулся во сне – его тело, изуродованное огнём, нашли несколько после, разбирая руины. Полицейские решили было, что в трагедии виноват именно погибший – дескать, забыл выключить какой-нибудь электроприбор, или не потушил сигарету, но это предположение с возмущением опровергли и его родственники, и сотрудники «Файзера». Все в один голос характеризовали сторожа как человека трезвого и ответственного – дескать, не пил, не курил, и даже, несмотря на возраст, занимался каким-то спортом. Спасённая девочка также рассказала, что никаких опасных приборов в доме не было, а перед сном дед сделал тщательный обход здания.

Глава двадцать вторая

Алексею информация о пожаре попала только в феврале, через месяц после трагедии, да и то как-то случайно, вместе с другими сводками происшествий. Он, однако, немедленно обратил на неё самое пристальное внимание. И первые же розыски дали результаты – среди найденного на месте преступления вновь мелькнула известная канистра от бензина, уже в третьей своей инкарнации. Алексей кинулся обзванивать знакомых следователей, искать документы по делу, обходить свидетелей. Бумажная работа оказалась сложна. На здание претендовали два десятка компаний, и среди них настоящие титаны индустрии, вроде «Мортон», «ДСК-1» и «НДВ». Каждая из них так или иначе была заинтересована в пожаре, однако, Алексей принялся копать в сторону «Первой строительной», и не ошибся. Оказалось, что незадолго до событий небольшая фирма «Инженерные системы» купила рядом с универсамом крошечный клочок земли, якобы под некие исследовательские работы, связанные с изучением грунтовых вод в районе. Из-за недавно внесённых в местные нормативные акты изменений, она обладала правом преимущественного выкупа соседнего здания вместе с территорией. Несложно догадаться, что компания эта оказалась аффилирована с фирмой Гореславского... Алексей кинулся в бой. Были написаны десятки заявлений в правоохранительные органы, выпущены статьи, отправлены обращения всем депутатам и правозащитникам, фамилии которых обнаружили в его записной книжке. Семью погибшего старика он навещал каждый день. Оказалось, что Саша, девочка, пострадавшая при пожаре, тяжело заболела – у неё обнаружили множественные ушибы внутренних органов. Алексей, конечно, кинулся на помощь: доставал врачей, собирал в интернете деньги на процедуры и лекарства, обращался в благотворительные фонды. Поначалу в семье к нему отнеслись с подозрением – доброта в наше время штука дефицитная, и редко обходится без личного интереса. Увидев, что мой приятель не стремится пиариться на трагедии (это было бы ещё понятно), его начали подозревать Бог знает в чём, в том числе и в такой нелепости, будто он сам – поджигатель, который вдруг раскаялся, узрев дело рук своих. Мать Саши, женщина бедная, измождённая и больная, одно время даже не хотела пускать Алексея к дочери. Впрочем, он даже не заметил этих предубеждений, и работу свою не бросал, навещая больную чуть ли ни ежедневно. Как-то он потащил с собой и меня. Жили Домницкие недалеко от метро «Полянка», в сырой, холодной хрущёвке, отделанной на фасаде каким-то грязным и везде обтрескавшимся кирпичом. Алексей нёс огромного плюшевого медведя для девочки, и пока мы поднимались по лестнице, то и дело задевал его огромной головой то грязную стену, то облезшие перила и весело ругался. Он вообще был очень доволен, предчувствуя, какое впечатление подарок произведёт на больную. Дверь нам открыла худая, усталая женщина с болезненно-серым невыразительным лицом, на котором странно и как-то пронзительно выделялись чёрные как сливы глаза. Увидев Алексея, она не сказала ему ни слова, как семейному человеку, и сразу указала на комнату дочки в дальнем конце коридора. Квартира была бедная – кое-что из «Икеи», кое-что старое, ещё советское, уродливо разохшееся. Обои от сырости всюду тёмные и по углам отставшие, на стене – дешёвый телефонный аппарат с трещиной на трубке. Везде, я помню, бардак, развал, и в коридоре всё заставлено обувью, преимущественно старой и негодной, на выброс, но которую жалеют выбросить, и на кухне заняты все столы, полки, посудой, которую не успели помыть. Не знаю, прав ли я, но есть признак предельной, чрезвычайной бедности – в жилье всё чем-то загромождено, негде встать, негде прилечь, на столе чашку не уместишь. Ей-Богу, часто и у многих это замечал, да и у нас с матерью так было когда-то. В комнате девочки мы уселись на двух пуфиках у кровати. Перед кроватью – маленький столик, уставленный лекарствами, грязными стаканами, тарелками. Игрушек, к моему удивлению, почти не оказалось – две или три куклы лежали у изголовья кровати, да на подушке, нелепо раскинув лапы, валялась фиолетовая шестилапая зверюшка, уродец

из породы каких-нибудь смешариков или телепузиков. Сама девочка, маленькая, худенькая, беленькая, с искажённым страданием бескровным личиком, лежала у самой стены, до подбородка натянув одеяло. Увидев Алексея, она сделала усилие и подняла головку над подушкой.

– Здравствуйте, дядя Лёша, – через силу пролепетала она, часто моргая глазами.

– Здравствуй, маленькая, – произнёс Алексей. – Вот, мишку тебе принёс. Нравится? Михал Потапычем зовут.

– А что он умеет?

– Умеет мёд кушать, по деревьям лазать, берлогу копать.

– Как же он в моей комнате берлогу выкопает? – с ноткой истеричности в голосе, отличающей всех, сильно страдающих, рассмеялась девочка, обнимая игрушку.

– А он в лесу сделает, а будет к тебе в гости приходиться.

– А я не отпущу его! Он мой теперь!

Так они болтали с полчаса. Странно, но я за всё время не вставил в беседу ни слова, и вообще, наблюдал за ними с неким оцепенением. Мне почему-то ужасно тяжела была и эта беседа, и вид искалеченной девочки, и энтузиазм Алексея, и я облегчённо вздохнул, когда мать, наконец, заглянула и пригласила на кухню. Там мы долго разбирались в документах. Дела оказались плохи – ни «Файзер», ни государственные органы не желали компенсировать смерть деда. Денег между тем не хватало – женщина по уши погрязла в кредитах, зарабатывала же какие-то копейки, что-то около двадцати пяти тысяч. С мужем она не была в разводе, но жил он отдельно, с другой семьёй, и совсем не помогал. Алексей долго разъяснял Домницкой каждый сложный вопрос, рассказывал, куда и к кому обращаться, снабжал её контактами бесплатных адвокатов из профильных фондов на случай заявления в суд. Однако, видно было, что женщина боится и не хочет никакой юридической волокиты. Алексей даже злился на неё, впрочем, беззлобно, как злятся люди широкой души – с сочувствием к забитости и слабости.

Глава двадцать третья

В середине мая девочка скончалась. Случилось это как-то внезапно – вдруг ночью начался кашель, затем пошла горлом кровь, и через десять минут она вся посинела и перестала дышать. Мать вызвала скорую, но медики уже не могли помочь. Алексей, приехал по звонку Домницкой чуть позже врачей, и застал Сашу уже мёртвой. Он буквально не находил себя от горя, и, как я слышал после от него самого (он сообщил с гордостью), всю ночь прорыдал над покойницей в обнимку с матерью. Сашенька незадолго до смерти сделала для него рисунок на листке бумаги – он стоит у ёлки с корзинкой, из которой торчат фантастически огромные грибы, она в синем платице держит его за руку. Я сильно подозреваю, кстати, что картинку девочку уговорила нарисовать мать в благодарность Алексею за помощь, во всяком случае, я не видел в её комнате ни других рисунков, ни даже карандашей или альбома. Этот листок Алексей хранил как некое бесценное сокровище, купил для него особую рамку и повесил над своим столом в кабинете. Похоронами занимался он один. Отец девочки так и не появился (да и не знаю, сообщили ли ему вообще), а мать с момента смерти пребывала в некой прострации, сама ни с кем не говорила, на вопросы отвечала односложно, и даже несколько дней подряд не меняла одежду, так что от неё, наконец, начал распространяться характерный запах. На свои деньги Алексей купил сосновый гробик, очень красиво отделанный розовым глазом, заказал особое платице для покойницы, нашёл место на Алтуфьевском кладбище, и даже организовал поминки со столом и всем необходимым. На похоронах было многолюдно, пришло человек пятьдесят. Были и родственники и люди случайные, откликнувшиеся на какие-то Лёшины публикации в соцсетях. Получилось очень трогательно – могилку всю усыпали цветами и уложили игрушками, многие плакали, мать девочки окружили вниманием, наперебой предлагали ей помощь, деньги. Она сама вышла, наконец, из своего каменного состояния, растрогалась и уж не могла остановиться – и плакала, и обнимала всех, к ней подходивших. Выступил и Алексей. Мне почему-то казалось, что он выкинет нечто глупое и эксцентричное – прочитает, к примеру, над могилой стих собственного сочинения, или исполнит горестную песню, но он только спросил у матери разрешения положить девочке в гробик часики, которые купил незадолго до кончины, и не успел отдать. Их Сашенька попросила недели две назад – ей хотелось иметь часы, похожие на те, что носила её мать. У той действительно имелись очень красивые ходики с узорчатым алюминиевым браслетом, и Алексей достал почти точно такие же, но на серебряном браслете и с малахитовыми вставками. Причём, часть браслета у них была съёмная, на вырост. Он надеялся, вероятно, что Саша, когда вырастет большой, будет надевать его подарок и вспоминать о нём. Эта сцена растрогала всех. При мысли о том, что девочка никогда уже не станет взрослой, и не наденет часы, даже я чуть ни пустил слезу. Пишу это даже потому, что вообще история с похоронами произвела на меня странное действие. Всё там почему-то ужасно раздражало меня, во всём настойчиво виделось некое лицемерие – и в скорби собравшихся, и в преувеличенном, как казалось, старании Алексея угодить всем, и даже в отчаянии матери. Помню, я как-то чересчур энергично ходил между людьми, и, словно разыскивая кого-то, заглядывал в лица, прислушивался к разговорам, замечал жесты... Я был даже груб – одного молодого человека сильно толкнул, резко огрызнулся на замечание ещё какой-то девушки. Я начал, наконец, ловить на себе недоумённые и даже возмущённые взгляды, но мне было плевать. Мне как-то алчно желалось различить в присутствующих неискренность, подловить кого-нибудь на лжи, и я страшно рад был, когда чувствовал нечто, хоть отдалённо похожее. Покинул я кладбище раньше всех, и ушёл с брезгливым ощущением, которое усилилось по дороге до такой степени, что, дома меня стошнило. Маша, решившая, что я болен, бросилась на помощь, но я, поспешно отмахнувшись, вышел из квартиры и отправился сам не знаю куда. По пути мне попался какой-то паршивый торговый центр, из тех, что торгуют

не брендами, а безвестной китайщиной. Я зашёл там в кафешку, торопливо выпил чаю, а потом часа полтора шатался от витрины к витрине. Потребление, пусть и низкосортное, неплохо так расслабило меня, увлекло даже до энтузиазма, в пылу которого был, впрочем, момент, когда я с удивлением и некоторой ошарашенностью оглянулся на себя. Я даже купил там какой-то замухрышистый синтетический свитер, который, однако, с тех пор ни разу не надел. Если озабочусь завещанием, то обязательно попрошу, чтобы именно в нём меня и закопали.

Между тем, Алексей всё же совершил глупость, которой я ожидал от него. Пока я отсутствовал, он зашёл к нам и с час проторчал на кухне наедине с Машей, очевидно, желая завести какой-то разговор. Но никак не решался. Девушка, всё ещё напуганная моим внезапным появлением и столь же внезапной отлучкой, решила, что со мной случилось что-то неладное, и извела Алексея расспросами. Но он лишь краснел и отмалчивался, доведя беднягу до белого каления. Наконец, она решительно потребовала от него ответа. Лёша принялся бормотать что-то, но из его бессвязной речи нельзя было ничего разобрать. Что-то там было про сомнения, страдания, нечистую совесть, и так далее. Наконец, Маша догадалась, что его посещение связано вовсе не со мной, а каким-то образом касается её самой. Но, едва подобравшись к сути, Коробов вскочил как ужаленный, схватил с вешалки куртку и пулей вылетел за дверь.

Через минуту он позвонил мне, и сбивчиво поведал обо всём, тут же объяснив, что не мог поступить иначе, что ему хотелось, как он выразился, «оторвать пластырь», и, что если при встрече я дам ему по морде, он поймёт. Признаться, из этого путаного монолога я не понял ровным счётом ничего, полностью списав его на шоковое состояние Коробова после похорон. В дальнейшем мы ни разу даже не обсуждали этот разговор, хотя Лёша, судя по кой-каким намёкам, и стремился. Уж не знаю почему – то ли действительно стыдился, то ли желал высказаться, разъярившись окончательно, разумеется, в первую очередь не мне, а самому себе. В этой истории для него в самом деле было много таинственного и неловкого, что и выяснилось несколько после.

Глава двадцать четвёртая

После смерти девочки Алексей как в омут с головой бросился в открытую схватку с драконом. Он кинулся в полицию, написал, наверное, сотню запросов в прокуратуру и ФСБ, связался со всеми правозащитными и благотворительными организациями, какие смог найти в своей записной книжке. Но везде были неудачи. Полиции его улики не хватало, прокуратура одну за другой строчила отписки, а в ФСБ и прочих смежных ведомствах заявляли, что подобные расследования не имеют отношения к их деятельности. Алексей не ограничился заявлениями, а лично пошёл по кабинетам, но и тут не выгорело. Где-то не приняли, где-то отказали, где-то мягко дали от ворот поворот, взяв дело на рассмотрение, но тут же кубарем спустив по инстанциям. Больше всего от Коробова досталось личному составу УВД Замоскворецкого района, на земле которого, собственно, и случился пожар. На несколько дней он буквально прописался в отделе – таскал туда каких-то адвокатов и правозащитников, писал заявления, приставал ко всем следователям, которые имели несчастье попасться ему на пути. Наконец, он до такой степени надоел полицейским, что начальник отделения лично распорядился ни под каким соусом не пускать его в здание. Но Алексей всё-таки как-то прорвался со своими бумагами, и на этот раз добился обстоятельного и откровенного разговора с одним из руководителей. Тот честно объяснил настырному журналисту, что у дела его, в принципе, перспективы есть, а при удачном стечении обстоятельств, может быть, и неплохие, однако, улики собрано пренебрежительно мало. Одинаковые на всех трёх пожарах канистры и подставные фирмы, на которые опиралась «Первая строительная», конечно, произведут впечатление на обывателя, но для суда они всего лишь косвенные доказательства. Даже самый честный судья, которые, к слову, в практике по подобным случаям встречаются исключительно редко, и тот отправит дело на доследование. А для следствия каждая такая история – сущий кошмар. Тут речь не о каких-то алкашах, спьяну спаливших курятник. Вопрос серьёзный, связанный с большими деньгами, и в работе по нему обязательно придётся столкнуться с людьми со связями, с важными чиновниками, с умными и опытными юристами. Если расследование начать сейчас, – уныло резюмировал полицейский, – то из него очень скоро выйдет очередной «висяк», а строители мало того, что останутся безнаказанными, так ещё и получают законную возможность ознакомиться с материалами дела, благодаря чему окончательно упрячут концы в воду.

Алексей вышел из полиции со сложным чувством. С одной стороны, очевидно было нежелание служителей Фемиды браться за запутанное дело, с другой же и в словах следователя чувствовалась правда. Коробов, конечно, руки не отпустил и с усиленной энергией взялся за расследование. За полгода он проделал огромную работу – собрал информацию о руководстве «Первой строительной компании», нашёл её финансовые документы, как бывшие в открытом доступе, так и секретные (в последнем эпизодически помогали ребята из пиар-служб конкурирующих строительных корпораций). Он вывесил на стену над своим столом организационную диаграмму фирмы, которая постоянно дополнялась и учитывала всё – дочерние компании, объём контрактов, откаты, случаи ухода от налогов, которые можно было подтвердить документально, и так далее. Рядом с диаграммой над столом висела и та самая картинка, портрет Лёши, сделанный умершей девочкой, и каждый раз, входя в кабинет, он первым делом видел именно её. Я считал это некой пошлостью, и даже с какой-то брезгливостью относился, но это от тогдашнего моего наивного цинизма, который я, как все маленькие детишки, принимал за знание жизни и беспристрастность. Немножко помаявшись на этом свете, начинаешь понимать, что настоящая, искренняя сентиментальность никогда не бывает пошлой.

Словом, Коробов бушевал. Ворвавшись в пещеру дракона, он орал во весь голос и отважно размахивал перед его бугристой мордой горящим факелом. И дракон проснулся и заметил его. Ещё не зная, чего ожидать от странного героя, дерзко нарушившего его покой, он

поднялся с места, и от греха подальше убрался вглубь своего убежища. Несколько мгновений слышалось шумное, рассерженное дыхание, раздавался тяжёлый топот огромных когтистых лап и тускло блестел в свете факела извивающийся кольцами чешуйчатый хвост... А затем всё стихло. Из реестров пропали дочерние фирмы «Первой строительной», был закрыт доступ к технической документации, приостановлено участие компании в сомнительных закупках... Коробов не отступал ни на секунду, но дракон был слишком прыток. Источники переставали отвечать на звонки, корпоративные протоколы стремительно исчезали из интернета, конкурсы засекречивались. Работа, занявшая месяцы напряжённого, кропотливого труда, целиком и полностью пошла насмарку. В этот момент мне очень интересно было наблюдать за Алексеем. Я не без удовольствия заметил у него признаки хорошо мне известного чувства – обиды, славной, горькой обиды на весь свет. Но если я упивался своей обидой, Алексея тяготилась ей, я копил её, он же стремился поскорее избавиться. Но обида как огонь: огородите его чугунным экраном, и он согреет вас холодным зимним вечером, отпустите на волю – и он сожжёт ваш дом. Алексей по неопытности дал обиде свободу. С людьми, которые помогали ему собирать информацию, рискуя положением, он почти в одночасье перессорился, обвинив их в трусости и недостаточной решимости, полицейских и чиновников, связанных с расследованием и, казалось бы, готовых содействовать, одного за другим оттолкнул от себя, назвав жуликами и взяточниками. До того он осмотрительно воздерживался от публикаций по делу «Первой строительной», приберегая всё для одного, главного удара, теперь же выпустил целый цикл статей с громкими заголовками и голословными обвинениями. Его авторитет упал ниже плинтуса, и лучше всего это было видно по позиции атакуемой им компании, которая, считая дело оконченным, даже не подавала на него в суд, несмотря на хорошие перспективы иска, а ограничивалась коротенькими пресс-релизами на своём сайте, в которых называла нашу газету «бульварным листком», а Коробова – «журналистом, гоняющимся за жёлтой славой». В последнее время Алексей стал совсем сдавать. От отчаяния он решался на совсем уж очевидные глупости, от которых его с трудом отговаривал. У него, к примеру, была навязчивая мысль объявить «Первой строительной» ультиматум. Эта идея превратилась у него, наконец, в некую манию. Он часто в красках и с каким-то большим вдохновением расписывал, как было бы замечательно явиться к строителям в офис, продемонстрировать Гореславскому и Белову все документы, найденные за время расследования, и повергнуть их тем самым в прах. Об их признании при этом хоть и мечтал, но как-то в самую последнюю очередь – и сам в него не верил, и даже почти в нём не нуждался. Ему хотелось огня, энергии, движения, и главное – законченности. Того, например, чтобы его как-нибудь окончательно обругали, то есть чтобы и сказать было больше нечего. И, может быть, при этом по-скотски поступили – выгнали, к примеру, пинками на улицу, или избили, или посмеялись откровенно и нараспашку – одним словом, показали себя абсолютными и беспринципными подлецами, полностью отдающими себе отчёт в собственной подлости. Вообще, от бессилия порой страшно хочется пострадать. Страдание имеет собственное, абсолютное значение – оно и искупает слабость, и прощает ошибки, и обещает спасение.

И одновременно с тем он, совершенно не веря в успех, где-то в глубине души всё же предполагал его возможность. В этом я уверен потому, что знаю – если бы он объективно чувствовал впереди одно лишь поражение, то не пошёл бы совсем, как, например, пошёл бы я (и даже с наслаждением), или какой-нибудь ещё слабонервный простачок. Слишком мало он тогда был разочарован, и слишком ещё любил жизнь. Вообще, обиженные порой чёрт знает чего ожидают от своей обиды. Сужу по собственному опыту. Иногда так горит в тебе чувство справедливости, что совершенно искренне веришь, что человек, который по всем точкам тебя обставил, который сильнее, а то и умнее стократно, вдруг извинится перед тобой, причём как-нибудь совершенно неподобающе – униженно и плаксиво, а затем полностью сдастся на твою милость и откажется ото всех претензий. И настолько свято веришь этому, как никогда ни

во что не верил. И, главное, веришь не зря – ведь случается же и такое в жизни, причём на удивление часто. Обида, повторюсь, чувство глубокое.

Я думаю, что мечта Алексея об ультиматуме так и осталась бы без воплощения. Решись он на это серьёзно, кто-нибудь, да отговорил бы его – не я, так редактор или ребята из юротдела. Но всё изменил случай. Давно, ещё в самом начале расследования, в первый раз обнаружив то самое совпадение с канистрами, Алексей составил список потенциальных жертв «Первой строительной». Тогда компания ещё вела себя неосторожно, и сделать это оказалось довольно просто. В этом списке было около десятка объектов, интересных возможным поджигателям, среди них – многоэтажка в кленовом парке почти в самом центре Москвы, на Никитской улице. Претензии на её территорию имели несколько строительных конгломератов, причём в начале двухтысячных некоторые уже и покушались на расселение дома, но отступали. Во-первых, бучу поднимали жители, а тогда к общественному мнению ещё прислушивались, во-вторых же местные законы требовали давать жильё расселяемым в том же самом районе, где находился сносимый объект, что казалось коммерсантам экономически нецелесообразным. Однако, в последние годы ситуация изменилась. В 2011-м был принят знаменитый закон, позволяющий предоставлять собственникам расселяемых домов жильё за пределами их округа, да и прежних жителей, крепко державшихся друг за друга, в доме почти не осталось. Кто-то поменял жильё и разъехался с детьми, кто-то продал квартиру, кто-то попросту умер. Почти сразу вслед за принятием закона, здание официально, несмотря на все возражения жильцов, было признано аварийным и подлежащим сносу. Стало ясно, что новой атаки не избежать. Ещё шли суды, оспаривающие соответствующие решения СЭС, БТИ и противопожарной службы, а к собственникам уже являлись представители строительных компаний и предлагали варианты для расселения. Среди них были и ребятки из «Первой строительной», к примеру, на место не раз заезжал уже упомянутый здесь заместитель директора Николай Белов. Сыпались намёки и требования, случались и угрозы... Алексей не мог предвидеть новый пожар, но, когда тот случился, несколько не удивился. Разумеется, сразу приступил к делу. Причём, теперь, в отличие от всего прежнего, у него на руках были сразу несколько козырей. Тут и показания жильцов, подтверждающие претензии строителей, и кое-какие документы, и материалы судебных заседаний, где были уже установлены и доказаны некоторые весьма любопытные факты. Кроме того, на этот раз из-за множества погибших в пожаре, можно было рассчитывать на серьёзный общественный резонанс, особенно если аккуратно подойти к освещению истории. Когда Алексей в ночь пожара возник у меня на пороге, я всё это немедленно оценил и взвесил. Прежде я досадовал на своего приятеля за излишнюю вспыльчивость, теперь же поход к Гореславскому с этим его чёртовым ультиматумом показался мне отнюдь не лишённым смысла. Если прежде подобная выходка прошла бы по категории курьёзов, и принесла бы нам разве что судебный иск, то нынче, благодаря пожару, она предстала в совершенно ином свете. Во-первых, был очень возможен скандал, и чем громче он оказался бы, тем лучше. Теперь-то уж никто не обвинит нас в погоне за сенсациями и не обзовёт «охотниками за жёлтой славой». Дорогие коллеги немедленно припомнят Лёшину возню со строителями и сделают из неё нужные выводы. В глазах общественности мы станем борцами за справедливость, неподкупными рыцарями пера, которые, несмотря на травлю, продолжали гнуть свою линию, и, хоть и тщетно, но пытались разоблачить злодеев и предупредить о грядущей опасности. Героями, которые, узнав о трагедии, первыми отправились в логово чудовища, дабы бросить вызов свирепому хищнику, и были избиты, оскорблены, унижены (нужное тут подчеркнуть). Первую скрипку в партии будет играть Алексей, но и мне, рассудил я, достанется немало аплодисментов. Во-вторых, некоторый расчёт был на то, что Гореславский, чем чёрт не шутит, действительно о чём-нибудь проболтается в пылу гнева. Человек он был по слухам вспыльчивый, и не всегда сдержанный на язык. Ну а в-третьих, сознаюсь со смущением, имелся у меня и собственный, несколько нездоровый интерес. Я, как вы знаете, обижался тогда на мир (заметьте –

именно обижался, а не был обижен – пишу как о процессе), и со временем черта эта выразилась в нескольких любопытных привычках. К примеру, я часто принимался выдумывать себе различные беды и оскорбления. Скажем, если приходилось мне видеть на улице, как милиционеры останавливают какого-нибудь прохожего для проверки документов, я тут же представлял себя на его месте, и воображал чёрт знает что – будто в ответ на законные замечания они схватили меня под руки, оттащили в отделение, избили там до полусмерти, и после остались безнаказанными. Если читал в интернете о каких-нибудь мошенниках, то опять ставил себя на место обманутых, безуспешно пытающихся добиться справедливости. Эти мечты, да, именно мечты, потому что я зачастую в некоем пылу желал их осуществления, увлекали меня на целые часы, раздражали до нервозности и какого-то умственного ступора. Их я называл тёмными. Но были и светлые, отличавшиеся тем, что в них я одерживал над обидчиками победу – добивался изгнания продажных милиционеров, ареста жуликов, и так далее. Они не давали тех же ощущений, что тёмные, этого терпкого, упоительного осознания себя задыхающимся на дне мрачной бездны, но за них я держался изо всех сил, порой даже с неким отчаянием. Обычно преобладание тёмных или светлых мечтаний зависело у меня от настроения, но в последнее время, после начала отношений с Машей, мне почему-то страшно хотелось победы, окончательной победы той или иной стороны – или уж совсем сгинуть в тоске, или спастись, взмыть к свету. Визит к хозяину «Первой строительной», я почему-то был уверен в этом, мог сдвинуть баланс сил в этой борьбе. Предчувствуя разочарование, я в то же время, может быть, не меньше Лёши рассчитывал на успех его выходки.

Ну а кроме того, любопытно было и взглянуть на самого Гореславского. Интерес был тот же, с каким разглядываешь дикого зверя в клетке. Личностью он был действительно легендарной – известный бандит, переделавшийся в коммерсанта, эдакий городской волк, готовый разорвать каждого, кто дерзнёт отобрать у него добычу – и так далее, и тому подобное. Согласитесь, есть в этом что-то романтическое, пусть романтизм несколько и отдаёт кирзой да баландой. Впрочем, нынче иного и не бывает – не заслужили мы с вами алых-то парусов...

Глава двадцать пятая

Мне казалось, что пока мы тряслись в вагоне метро, прошла целая вечность. Помню, как всё необыкновенно поражало меня по дороге – и провода, тянущиеся в тоннелях, и скрежет и скрип состава, и обычная вагонная духота, и станция «Международная», на которой мы вышли, похожая на отсек космического корабля. Я даже сейчас вспоминаю с удивлением тогдашние свои ощущения, настолько странно они отпечатались в памяти. Словно я знал уже, что скоро изменится моя жизнь. Я, кстати, доверяю таким предчувствиям, и думаю, что они вполне реальны и безошибочны. Однако, забавно – при этом абсолютно не верю ни в судьбу, ни в предопределённость вообще. Впрочем, это я, видимо, со злости.

Гореславский жил в башне «Федерация», в огромной, чуть ли ни шестисотметровой квартире. В квартире он часто работал, для чего отвёл там целое крыло с канцелярией и отдельным кабинетом. Это мы знали заранее по сведениям Алексея, который тот собрал за те полгода, что копал под «Первую строительную». Странно, но при этом он не имел ни малейшего понятия ни о том, как проникнуть в само здание, ни о том, принимает ли вообще у себя Гореславский. Собственно, и с самим Гореславским он никогда в жизни не встречался, и даже не разговаривал ни разу, хотя успел основательно замучить своими запросами его сотрудников. Дело тут было, конечно, не в случайности. Он и сам мне после говорил, что хозяин «Первой строительной» неоднократно предлагал ему через доверенных лиц встречу. Думаю, мой приятель просто приберегал Гореславского на горяченькое. Всё-таки он большой любитель торжественного момента – наш милый Алексей. Жаль, ах как жаль, что я ещё тогда не подметил у него этой тоненькой чёрточки!

Башня «Федерация», как оказалось, состояла, собственно, из двух зданий – западного и восточного. Гореславский занимал весь девяносто пятый этаж восточной башни, так называемые платиновые апартаменты. Перед тем как войти в холл, мы с Лёшей осмотрелись кругом. Хоть я и москвич, но вблизи Москвы-сити оказался впервые. Этот комплекс всегда, даже издали, подавлял меня, всегда виделось в нём нечто азиатское, дикое. Вся эта позорная роскошь способна лишь удивлять своими нелепыми, ненужными масштабами, и если свидетельствует о чём-то, то, как бы это ни высокопарно, об оторванности от общества нашей глупой, ограниченной, жадной элитки. Вообще, в Москве, да и в сегодняшней России в целом, небо-скрёбы смотрятся смешно и нелепо. Они уместны в крохотной Японии, где экономится каждый квадратный сантиметр, или в Америке, напрягающей в мегаполисах свои мощные деловые и индустриальные мускулы, но в стране, стремительно возвращающейся в аграрную эпоху, всё это выглядит смешно и вызывающе. Мне кажется, надо быть совсем уж пустыньским человеком, чтобы хотя бы не чувствовать этого, и уж тем более чтобы поселиться в одном из таких зданий. Это не просто место проживания, это некая наглая декларация, причём как-то глупо и пошло наглая – подобно пьяному дебошу ошалевшего нувориша. Мне кажется, что с наступлением новой, какой-нибудь справедливой эпохи эти чудовищные ледяные дворцы сами собой провалятся под землю, так, как сгинул толкиеновский Мордор после уничтожения Единого Кольца.

На входе в здание в самом деле оказалась охрана, а также турникеты и целое бюро пропусков. Я думал, что нам никак не попасть внутрь, но Алексей позвонил в приёмную Гореславского, и нам буквально через минуту выдали нужные для прохода карточки. Алексей был на таком взводе, что я забеспокоился, как бы он в последний момент не отказался ото всей затеи. В глубине души я почему-то не сомневался, что он на это вполне способен, несмотря на разочарования последних месяцев, на весь свой горячий энтузиазм, и даже на детский рисунок, висящий над столом.

Выйдя из зеркального лифта, стремительно вознёсшего нас на нужный этаж, мы оказались в мраморной приёмной с двумя кожаными креслами и гигантской, напоминающей архиепископскую трибуну в кафедральном соборе, стойкой администратора. Сама администратор, худая упругая блондинка в чёрном и белом, с зачёсанными назад и туго затянутыми жидкими волосами, встретила нас прохладным взглядом голубых, как вода у карибских рифов, глаз.

– Вас ожидают, – металлическим тоном констатировала она, оглядев нас с ног до головы и особенно остановившись на Алексее, едва не пританцовывающем на месте от волнения.

– Куда идти? – с тем же металлом отозвался я, решив пошалить. Всегда бывает очень забавно, когда одно высокомерие наталкивается на другое. Игра весьма увлекательна: надо постоянно повышать тон, так чтобы перейти, наконец, на настоящий взаимный крик, что, в свою очередь, при полном соблюдении внешних приличий, неизбежно оказывается ужасно комично, особенно если при сцене присутствуют понимающие наблюдатели. Но, к сожалению, у девушки высокомерие оказалось просто неудачно подобранным деловым тоном, что частенько случается у амбициозных и молоденьких секретарей, и она, не проявив ни малейшего интереса к пикировке, сделала знак следовать за собой. Мы одну за другой прошли две огромные залы, уставленные громоздкой дубовой мебелью и с массивными хрустальными люстрами, и оказались в небольшой квадратной комнате, которая, первая из встреченных нами, была устлана мягким ворсистым ковром. Обстановка, к удивлению моему, впрочем, не чрезвычайному, была почти аскетична. Вдоль стен – несколько шкафов на искусно и подробно вырезанных львиных лапах (эти лапы – единственная роскошь), простой деревянный стол, заваленный бумагами, но без компьютера, а перед ним – два простых же металлических стула, и ещё на потолке – маленькая даже для этой комнаты люстра с какими-то жёлтыми камешками. Девушка предложила нам разуться перед входом в кабинет, а затем усадила на стулья. Я устроился напротив второй двери в кабинет, той, что вела во внутренние помещения квартиры, и усиленно уставился на неё. Мне не хотелось пропустить первого впечатления от Гореславского.

Ждать пришлось не больше минуты. За дверью послышались тяжёлые шаги и басовитые голоса, затем она с силой распахнулась, и на пороге появились двое. Первый – собственно, Гореславский, а второй – уже отчасти известный нам его заместитель Николай Белов. Признаться, внешностью своей Гореславский несколько разочаровал меня. Или, лучше сказать, разочаровал тем, что не разочаровал. Косая сажень в плечах, лицо, словно вырубленное топором, кустистые брови над блестящими как антрацит глазами, насупленное, угрюмое выражение, низкий голос – всё это я и ожидал увидеть, и всё это напрямую следовало из его характера и биографии. Было на что посмотреть, но я не предполагал такой предсказуемости, мне казалось, что найдётся ещё и некая изюминка, какая-то оригинальная и хитренькая чёрточка. Я хотел изысканного обеда в шикарном ресторане, меня же накормили бургерами в Макдональдсе. Другое дело – Николай Белов. Вот тут было на что посмотреть. Росту он был невысокого, притом пухленький, с живым красненьким личиком, энергичными движениями и выражением какого-то крайнего, даже заискивающего интереса, как будто он всю жизнь только и ждал счастливого шанса познакомиться именно с вами. Особенно роскошен у него оказался голос. Такое частенько бывает как раз у подобных маленьких толстячков. Ты ничего особенного не ждёшь, разве что какой-нибудь комичной пискливости, а у него вдруг оказывается настоящий оперный баритон. Именно это обнаружилось у Белова – голос у него был так низок и глубок, что по телефону вы бы наверняка решили, что имеете дело с каким-нибудь двухметровым здоровяком с грудью колесом, превосходным здоровьем и двумя рядами крупных белых зубов. Войдя, они по очереди подали руки мне и Алексею. Алексей демонстративно убрал руку за спину, я же подал обоим, причём даже с неким заискиванием – всё ещё кривляясь. Гореславский принял спокойно, как должное, Белов же, кажется, о выходе догадался и с иезуитской улыбкой только чуть-чуть пощупал мои пальцы. Я чуть ни фыркнул от удоволь-

ствия – этот явно был интересным игроком. Гореславский по-хозяйски, солидно-грузно опустился за стол, Белов же встал рядом, засунув руки в карманы изумительных шёлковых брюк, и принялся с бесцеремонной иронией ощупывать взглядом нас с Алексеем.

– Кто из вас Коробов? – первым начал Гореславский, угрюмо оглядев нас исполобья.

– Я! – резко вызвался Алексей.

– Я вот что хотел узнать у тебя, – вкрадчиво произнёс Гореславский, сцепив свои огромные, корявые как крабы клешни кисти замком, и с грохотом водрузив их на столешницу. – Откуда вы берётесь такие? А? – последнее междометье он сипло выдохнул.

– У меня к вам точно такой же вопрос, – не смутился Алексей. – Семь человек погибло, в том числе дети, сорок семей на улице оказались, а вы...

– Какие семь человек? Где погибли? – казалось, искренне удивился Гореславский.

– На Никитской, я утром говорил, – почтительно пробормотал Белов, удивительно ловко для своей комплекции изогнувшись над столом. – В новостях сегодня было, – прибавил уже громче и, видимо, для нас.

– И что, этот пожар ты тоже на нас повесить хочешь? – Гореславский презрительно – головой кверху кивнул на Алексея. – За враньё твоё тебе сколько платят? Ко мне иди, вдвое больше дам. Будешь у меня клоуном. Хочешь? А? – снова повторил он свой сиплый звук.

– На этот раз вы уже не отмажетесь, – резко произнёс Алексей. – У нас есть все документы, записи разговоров ваших сотрудников с жильцами, выдержки из Росреестра, и официально подтверждённые материалы о ваших офшорах.

Он торопливо извлёк из сумки папку, перетянутую синей резинкой, с несвойственной ему ловкостью открыл, и извлёк белоснежный, твёрдый лист бумаги.

– «Греческая фирма «Наксия» зарегистрирована на имя Гореславского Степана Ильича, и владеет тремя четвёртыми долями в учреждённой ей же компании «Стерн-олимп», – процитировал Алексей. – К этому вы не придерётесь, это данные из греческого государственного реестра компаний. Это раз! – торжественно сказал он, убирая бумагу обратно в папку, и доставая следующий лист. – Пойдём дальше. «Компания «Стерн-Олимп» владеет фирмой «Сейгос», зарегистрированной по адресу: город Москва, Лиственная улица, дом двенадцать. «Сейгос» в свою очередь имеет государственную лицензию на геодезическую деятельность, и в апреле прошлого года проводила исследования по адресу: Никитская улица, дом три.

Алексей встряхнул листом в воздухе.

– Это ответ из мэрии Москвы на мой запрос, – твёрдо произнёс он. – Это, значит, у нас два. Мне дальше продолжать?

Гореславский смотрел на Алексея с удивлением, и даже рассерженное выражение исчезло на мгновение с его квадратной физиономии. Очевидно было, что беседа привлекла его внимание, разве что оставалось непонятным – обескуражила ли в первую очередь напористость Алексея, или удивили представленные факты.

– Ну а ещё что у тебя есть? – произнёс он после странной паузы, в продолжение которой зло всматривался в Коробова, словно пытаясь раздавить его взглядом. Давно, кстати, подметил, что сильные люди почти все удивительно непосредственны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.